
ВЛАДИМИР ЛИЧУТИН

ГОД ДЕВЯНОСТО ТРЕТИЙ...

Взгляд из деревенского окна

...Выросший в городе, Бондаренко, конечно, плохо представлял яму в лесной сыри, под еловым выворотнем, обложенную изнутри сухостоем, корьём и травяной ветошью, а снаружи покрытую дёрном, скрытню где-то на острове в болотах, чтобы была подальше от чужого глаза, в комарином углу, когда гнус стоит над головою облаком, когда дым от крохотного камелька, выложенного из камня-дикаря, слоится по угрюмому житьишку, выедавая глаза до трахомы, когда каждый сухарик на счету, когда сторонний голос в лесу заставляет насторожиться и угоняет сердце в пятки, когда времени теряется счёт, и жизнь вдруг покажется такой бессмысленной и вовсе лишней, что захочется по-волчьи завывать и отдаться под власть девке Невее, скрадывающей тоскующего человека... Это в кино приманчивы подобные картины, когда тягости житейские как бы подразумеваются, едва маревят в сознании, как сигаретный дым, но в жизни, увы, такая партизанская, монашья скрытня, добровольный прислон впору лишь характеру мужицкому, склонному к бродяжничеству и долголетию. “Белой кости” подобных лишений не снесть.

Дезертиры, что, бывало, утекали в леса, перетерпевая нужду и стужу, чаще всего были из деревенщины, “лешевой” породы, свичные к скудному быту, когда ржаной сухарь и закрутка из самосада считались за гостинец от Господа, когда удовольиться малым было за обычай. А горожанину, несвичному для жизни на земле, даже сутки прокоротать в зимнем лесу возле огнища, когда с одного боку морозит, а с другого припекает, когда аспидная небесная плита жерновом наваливается на твою выю, когда с нетерпением дожидаться утра, как манны небесной, — так вот, такому изнеженному городом человеку, утекшему с матери сырой земли, даже одна подобная ночь станет за подвиг. В эти часы аспидное небо не подгуживает в лад твоей душе, не поёт стихиры, и Бог не улыскается в усы, терпеливо распаяя твою душу на добро. Тебя проверяют на терпение, ты как бы стоишь в ожидании подвига у подножья алмазной горы Меру, к вершине которой и предстоит тебе невыносимый по тяжести, бесконечный путь. Даже в военной землянке, воспетой Сурковым, огонь в железной печурке вовсе другой, не скрытный, он бьётся за дверкою, как живой яростный зверь; подле этой печуры сгрудились сотоварищи, побратимы, крестовые братья, для кого “хлеба горбушка и та пополам”...

Э, братцы мои, не случайно же на Руси утеклецы-дезертиры, как и угондившие в плен, считались людьми самыми разнесчастными, кого Господь Бог

Окончание. Начало в № 10 за 2008 год.

обошёл милостью, и только простой деревенщине и остаётся пожалеть, помиловать и простить грехи от самой-то глубины православной души.

Бондаренко не сиделось, кажется, его так и подтыкивало булавкою под подушки.

“Слышь, Личутка, пойдём за грибами!”

“Какие сейчас грибы? Октябрь на дворе, — пытался я урезонить друга. — С дороги устали, отдыхать надо. И что за грибы? Одни скисшие шляпы набекрень”.

“Вот шляп и нажарим с картошкой. Да под водочку. Прохан, ты-то как?”

Бондаренко расталкивал друга, тормозил его, не давал устоять и закаменеть в груди той каше из сомнений и тревог, что не отпускали Проханова. Сейчас нужно было пить, петь, буяннить и шляться по лесу. Хотя Володе-то с его надорванным сердцем было всех труднее перемотать тягости. Но Бондаренко не давал себе послабки, чтобы не стать обузой.

И потащились мы в боры, на рассыпчатые, хрустящие под ногами белёсо-розоватые курчавые мхи. Где давно ли паслись многие стада маслят и козлят, боровиков и сыроежек, а сейчас лишь тонкими предзимними сквозняками сочилось из-под обвисших колючих подолов сосенников и елинников, и никто из скрытни не поскакивал в наши коробейки. Только мухоморные алые свечи, слегка приопалённые утренними холодами, зазывно светились на каждой лесной кулижке, просились в кузовок.

Но ведь на охотника и зверь. Знать, Господь спосылывает гостинчика очень жаждущему небесного подарка человеку. Бондаренко чутьисто охотился за добычею, будто скрадывал её по следу, рылся в иглице, словно кабанчик, ползал под хвойными подолами, выцарапывая побитых утренниками маслят и моховиков с тарелку; бахрома у грибов походила на грязную губку для мытья посуды. В страдные дни на них никто и смотреть бы не стал, лишь попутно спиноывал бы ногою, укорачивая их жизнь, чтобы зря не маячили, не сбивали охотничьего прицела. Я снисходительно улыбался, лениво встряхивал пустым кузовком, наблюдая за друзьями, прибежавшими из зачумлённой столицы под голубое в измороси небо, в притихшие осенние леса, затканые прозрачной светящейся паутиной. Задыхающийся от астмы поэт, с разбитым сердцем критик и прошедший Афганистан и Чернобыль прозаик, натянув фуфайки и резиновые сапожонки, сразу опростились, потеряли фасон, превратились в незаметную деревенщину, что легко затеривается в городской толпе. Так что же заставило их быть в самой гуще противостояния? Они не добивались ни почестей, ни славы, ни наград, но лишь из поклонения русскому народу хотели помочь избежать нового тугого ярма, которое по своей гнусности и безжалостности могло стать куда невыносимей предыдущего...

... Не брезгуя добычею, сообщая наскребли корзину маслят-перестарков, уже обвисших, сомлевших, полных воды. Так, одно название, что гриб. Воистину лешачья еда, подмога русскому человеку в трудную годину.

Вернулись в избу. По лицу Проханова мазнуло розовым, он стал слышать нас, значит, прорезался слух, повлажнели глаза, значит, поотмякла душа. Бондаренко взялся кашеварить, водрузил на костёр ведёрный чугунок, почистив, загрузил грибы, покровсал шляпенции крупными кусками, настрогал картошки. Примерно так же мы готовили для своего поросёнка. Получилось этого неприятязательного партизанского кулеша на целую роту. Кашевару я не мешал, не лез с поучениями, не выхватывал поварёшку, не снимал пробу, но, заглядывая в пыхающий, пускающий пузыри чугунок, каждый раз с сомнением качал головою. Ещё накануне я и представить бы себе не смог, что такие изникшие, изжитые грибы можно пустить на жарено, готовить с вдохновением и торжеством, лучезарной улыбкою на лице. Помнится, по телевизору одно время часто показывали учёного поварёнка. Он давал советы и рецепты с насмешкою и каким-то небрежением, учил русских женщин готовить как можно хуже, неприятязательней: дескать, вид у блюда невзрачный и запах скверный, но зато сколько витаминов, да и мужья не станут обжираться и тучнеть. Он учил: возьмите постное ржаное тесто, раскатайте его, положите нечищеную картофелину, морковину, свеклину, всякой травки, заверните в пирог и поставьте в духовку. Дёшево и сердито...

“Не съедим ведь?” — засомневался я, вспомнив того учёного кулинара. У него было серое, рыхлое, какое-то шутейное лицо балагура и бездельника, коих после революции во множестве обжило на телевидении. Одним сло-

вом, “чумичка”, тайными тропами проникшая в калашный ряд, да там и получившая прописку.

“Съедим! Да ещё и не хватит!” – самоуверенно, с азартом возразил Бондаренко.

Все застольщики делятся на два разряда. Одни закусывают, чтобы пить. У них девиз: нет плохой еды, есть – мало водки. Другие считают: пить закусывая – деньги на ветер. Под первый разряд подходил Бондаренко.

Вино у нас было, и много вина, своедельного, ягодного, что настоял я из черники. Я вытащил из запечка молочный бидон с молодым питьём. Сначала черпали кружками, каждый сам себе целовальник. Веселились и дурели, как в последний день на земле. Потом стали пить из ковша. Винцо сладенькое, терпкое, вязкое, густое, как ликёр, к языку липнет, как бы и не хмельное, не дурит, не роняет под стол, но в какой-то момент вдруг понимаешь, что к стулу приклеился, ноги отнялись, и смех беспричинный раздирает до слезы; конечно, дельных разговоров не было, но какое-то безудержное веселье овладело нами, когда всяк кричит дурным голосом, стремясь высказать что-то вещее, необыкновенно умное и значительное, но соседи худо слышат, ибо они исполнены того же мнения о себе; вдруг песня самочинно затевается, какая всплывает в ту минуту в голове, визгловатая, вразной, она вроде бы нарушает бестолковщину, ор и гам, настраивает застолье на особый душевный лад, но скоро умирает, не успев толком окрепнуть, вознестись. Проханов сдался первым, в валенках, в фуфайке полез на русскую печь, недолго гомозился у трубы, устраивая долговязое тело, и тут же уснул как убитый. Длинные ноги, не уместившись на лежанке, торчали наружу, будто деревянные.

Утром, проснувшись, увидели липкие лужи вина на полу, остывшие, серые, как резина, ошмётки грибов в чугуне. Остатки пиршества вызывали грусть. Но уже не пило, не елось. Снова уселись к телевизору, напряжённо ждали вестей. Из Москвы плели несуразное, несли всякую чертовщину, заливали Русь помоями. Запах скверны струился из телевизора; шуты и пересмешники на глуме ковали себе капиталец. Снова сообщили, что поймали Анпилова. Вдруг показали его со скрученными руками, какого-то маленького, сникшего, жалконького, пришибленного. Особым образом, с насмешкою, наводя камеру, лакеи угождали своим хозяевам: глядите, русское быдло, на своего блаженного и мотайте на ус, не рыпайтесь, всех ждёт подобная участь...

И неужели этот невзрачный пленник – организатор московских народных шествий, затопивших Москву, готовых пойти на Кремль? Оружия они просили, оружия, а им сунули лишь ворох сладких обманных посулов и с пустыми руками погнали брать “Кремль, мэрию, почту, телеграф”. Но ошибся случайно оператор, выхватил лицо Анпилова крупным планом: глаза спокойные, чуткие, но глядящие в себя. Нет, не сломлен атаманец, он-то не играл в восстание, но шёл на схватку с решимостью повстанца, не боящегося смерти. И был близок к победе, если бы не мешали политические шулера, соглашатели, сексоты, маловеры, оглашенные, пройдохи, плуты – всякого сорта люди, что обычно слетаются на обжигающий пламень, чтобы сознательно потушить его, призагасить, навести тень на плетень иль сварить кофию на пожаре, если подфартит.

Проханов удручённо свесил голову. Не раздеваясь, в фуфайке, оседлал стул, серое лицо, набрякшие глаза, надломленные руки – будто придремавшая на пеньке птица-неясыть. Анпилова было жалко, сейчас в тюрьму тащат сердешного с туго заведёнными за спину руками, дьяволы люто рёбра считать умеют, и я без задней мысли вдруг воскликнул с горечью:

“Эх вы, аники-воины! Пошли в бой голоручьем, без штыков, без связанных, без явок, без укрытий. Плохо вас учил батько Ульянов-Ленин. Побежали кто куда, всяк в свою подворотню”.

Бондаренко оживился:

“А когда иначе-то у нас было? Припекло – и за топор. А уж после давай думать, как в тюрьму поволокут”.

“Ничего, друзья! Всё на пользу, всё в науку, – отозвался Нефёдов. – Хорошо у тебя тут в деревне, Володя. Прямо рай. Кабы не моя жена... Как-то она там?”

И тут я почувствовал, как Проханов очнулся, вытолкнулся из удручающего тягуна на простор:

“В город надо...” – неожиданно сказал он.

“Да ты что, Санёк? Там сейчас мильтоны улицы подметают. На первом же углу заберут. В тюрьму легко зареветь, да оттуда кто вытащит?” – пробовал урезонить Бондаренко.

“В город надо”, – повторил Проханов, как о давно решённом.

“Погоди, Санёк, пусть утихнет”.

“Может быть”, – вдруг легко согласился Проханов и стал самим собою, участливым, вкрадчиво-ласковым и безмятежным, взгляд его обрёл осмысленность и с проснувшимся хозяйским любопытством отправился оглядывать подворье.

“Володя, как я хочу жить в деревне! Огурцы выращивать, кабачки, встречать солнце, слушать, как прохладными утрами поют птицы, мычат коровы, голятся петухи. Счастливый ты человек. Всё!.. С газетой завязываю. Навоевался. В деревню насовсем... Я люблю с огурцами возиться... Наблюдать, как проклёвывается первый листок, потом усы полезут, первый цветок вспыхивает, похожий на жёлтую бабочку, и тут же крохотная завязь, из которой за пару ночей надуется огурец в пупырышках, в слезинках росы, и каждая капля сверкает, как хрусталь, а сама кожица дымчатая, будто покрытая лаком, кожурка пряная, сладкая, словно припудренная сахарином. Сорвёшь, понюхаешь – ребёнком пахнет, младенчеством. Это мать-земля даёт такого аромата и вместе с тем особого чистого чувства; эти ощущения не передать словами. Что-то такое происходит с душою, что не высказать. И до самой старости это чувство не покидает человека, пока совсем не устанет жить... Первый огурец, первый гриб, первая ягода, первое яблоко, первая ложка мёда – это не просто дары земные, но это как зачин к любовной симфонии, что творится меж землёй и небом. А мы мимо этого счастья проходим равнодушно, словно бы другая жизнь нас поджидает, и лишь в ином мире мы поймём, что потеряли, и вернёмся обратно в природу”, – у Проханова голос густел, взбулькивал, словно бы невыносимая вязкая сладость проливалась в гортань и он никак не мог её проглотить; он был в эту минуту искренне сентиментален, размягчён душою до просверка слезы на потемневших глазах. В фуфайке, истерзанной мною в рыбацких походах, в резиновых броднях с долгими голяшками, он походил сейчас на агронома, лесника, зоотехника, егеря, того сельского культурника, кого в деревне хоть и числят за власть, но власть свою, что под рукою, на земле, свойскую, пусть порою и жёсткую, пристрастную, но и милостивую, от кого можно помощи получить при крайней нужде, но можно и укоротить за спесивость, напомнить о кровном родстве.

Проханов осмотрел гряды, сад, приценился к урожаю, но скоро остыл к моей усадьбе, его взгляд сам собою шарился в поисках чего-то нового, к чему бы можно прицепиться и тем самым хоть на время освободить голову, отвязаться от города. Но Москва, зачумлённая, растерянная, пониклая и печальная в ожидании грустных перемен, никак не шла из ума.

“Слышь, Володя, чего нам в избе торчать? На воле так хорошо дышится. Возьмём топоры, пойдём в лес, тебе поможем. Вон сколько нас, мужиков. Горы не своротим, но дров навалеем”.

Каких-то шабаленок, сапожонок нашлось друзьям, мы скоро срядились и отправились на ближнюю опушку, где после войны сеяли рожь, а нынче в самое небо вымахала роща, осыпающая жестяной, подгорелый по кромке лист. Смеясь, валили мы березняк, крякая и пристанывая, хватались за поясницы, стаскивали баланы в грудь, потом безмятежно отдыхали, уставясь на бледное, ещё тёплое, припорошённое жёлтой пылью солнце. Последний лист кружил и кружил на прелую землю, пахнущую остывающей баней, подкисшим грибом. Тихо было до звона в ушах, и сердце непонятно томилось от сладкой печали, словно бы мы прощались с чем-то невыразимо хорошим, что уже никогда не повторится. И, отпивая из хмельного лесного кубка, очарованные подгуживающим небом и ласковым припотевшим солнцем, уже знали, что вот эти последние минуты – рубеж перед новой жизнью. Мы как бы справляли поминки минувшему, отвальное пережитому, но и готовились испотчевать из чарки привальной, что поджидает в угрюмой Москве. Два дня лишь минуло, но они показались длинными, тягучими, бесконечными, лишёнными смысла. Потому что пыл внутри ещё не угас, неисполненные надежды тлели, мучали сомнения, чудилось, что всё ещё можно поправить, ну если и не вернуть в прежнее состояние, то хотя бы досадные промахи умягчить.

Это как после шахматной проигранной партии всю ночь одна мысль жжёт: ну почто я пешку вперёд не двинул?.. Ведь было намерение именно так и сходить, но словно бы кто за руку попридержал в последнюю минуту иль злой враг из “не наших” нашептал из-за плеча... Ведь была, была победа-то совсем рядом. Праведный голос увещевает: дескать, миленький мой, ну зачем так страдать и мучиться, ведь ничего страшного не случилось, чтобы вот так пропадать и сходить с ума, будто от этой промашки наступит нынче же конец света. Ведь это всего лишь забава, игра, и не более того, и вся горячая досада в груди, когда места себе не находишь от растравленного самолюбия и распалённой гордыни... Потерпи чуток, не сходи с ума, а с утра всё иным покажется, — это разум советует. Но голос его тут же затухает, как искра в пепле... Эх ты, лапоты, пим дырявый, выигранную позицию профукал на пустом месте, — вопит горе, заглушая трезвые рассуждения. Ибо такой нестерпимой мукой обливается сердце середка ночи, что жизнь как бы споткнулась и остановилась в самом нелепом положении; от одной этой партии, что бездумно в одну минуту сдал противнику, теперь всё впереди безнадёжно, беспросветно. Сон нейдёт, и ты снова, в который уже раз, включаешь свет, расставляешь на доске фигуры...

Пока валили лес, карзали топорами сучья, пилили березняк, таскали чурки, смысл в затеянной заготовке дровья был — упорядоченный, трезвый, деятельный; эта деревенская “помощь” неволью вязала нас со всем крестьянским уставом и полузабытым общинным бытом предков. Когда всем миром наваливались в помощь соседу-печищанину, иль вдовице, иль погорельцу.

Но вот воротились бегуны в избу, упёрлись взглядом в бревенчатые, мрелые от старости брёвна, с повысыпавшей из пазья, сваявшейся паклей, в заиленные от дождей стеколки, в присадистую русскую печь — и всякий смысл сиденья в деревне разом потерялся. Драма борьбы, опасная стихия сопротивления снова напоминали о себе, проникая через невидимые щели, как бы насланные из столицы по ветру, и выталкивали прочь из унылого, тоскливого схорона. Если в Москве проиграно сражение, если народ от поражения впал в уныние, а евреи в Кремле празднуют хануку, то в этом вина и его, Александра Проханова, что он вот не остался в пылающем Белом доме, чтобы разделить участь страдальцев, а ударился в бега из чаровного театра кукол, где картонных трибунов и вождей дёргают за нити жирные пальцы мирового ростовщика-поводыря. Двойственность положения угнетала, но в этом нельзя было никому признаться, чтобы сохранить лицо.

... В избе Проханову не сиделось. И я повёз друзей на глухой обмысок петлистой мешерской речонки Нармы, запутавшейся в высоких камышах. Заводь была тёмно-коричневая, с чешуйчатым просверком быстрины, глинистые, прошитые черемховым кореньем берега были коварно изрыты бобровыми ходами и ондатровыми норами. Вот водяная крыса свалилась в реку совсем невдали и скоро поплыла наперерез, выставив усатую рыжую мордочку. За поворотом глухо, сильно плесканулось: иль сыграла щука-матуха, иль бобёр скатил в воду бревешко и поволок его к своей запруде. Я оставил товарищей, а сам отправился со спиннингом вдоль реки, знакомой мне до каждой укромной, мыска, ямины и торфяного кряжа, где могла стоять и хорониться щучонка. От дождей река налилась вслесь, кое-где и подтопила бережины, и рыба не спешила скатываться в омута на зимний отстой. Надежды на успех было мало. Я кинул блесенку несколько раз в зеркальце воды и, на моё удивление, ухватил щучонку-травянку. И тут же вернулся на стан.

На полянке уже дымил костёр, булькала в котле вода. Наверное, дожидались добытчика. Все молчали, как бы боясь нарушить вселенский покой, только слышно было, как с шорохом осыпались с корявых ветвей ссохлые дубовые и ольховые листья и падали под берег на недвижную чёрную воду в солнечных брызгах. Где опускался лист, там вода легко вздрагивала, словно бы споднизу толкалась рыльцем серебристая плотвичка. Но подует ветер-сиверик, погонит эти ненадёжные судёнышки, река задымится, покроется водяной пылью, возьмётся ниоткуда, как на море, волна-толкунец с бельками по гребням, загнёт ветром камыши, тут и дождь сойдёт с неба стеною, и сразу невозвратно сотрётся эта дивная картина, кажется, не успев закрепиться на холсте.

Но несмотря на видимую зыбкую временность состояния, жила во мне странная уверенность в надёжности именно этого мирного, сердечного пейза-

жа, нарисованного уверенной кистью природы, знакомого мне в мельчайших подробностях, который я наблюдаю уже пятнадцать лет. Значит, всё проходит, но и всё повторяется вновь, лишь не стоит унывать; конечно, всё брено на земле, но всё и неизменно; когда-то заживут и раны, нанесённые природе упрямым, грубым в своём самоуправстве человеком. И снова нахлынет этот вселенский покой, и поклонятся уже другой душе чаровная таинственная красота увядающих папоротников, где таятся запоздалые грибы, блёстки синего небесного хрустала в розвесах дубов, остропёрые камыши с поздними голубыми бабочками, похожими на васильки, усатая бобровая мордашенция с лупастыми глазами и крутыми надбровьями, любопытно наблюдающая за тобою из-за рыжей осоты, чёрный ольховник, мглистой неприступной заставою вставший по-за рекою. . .

Наверное, похожее состояние навестило и моих друзей, Проханов лежал под деревом на волглой земле, подложив под себя полу фуфайки, и, кажется, дремал, полузакрыв глаза, или бредил о чём-то, теребя память. Я почистил щучонку, запустил в котелок, туда же угодила и трещина, взятая про запас. На поляне запахло ухом.

Где-то в Москве зачищали от крови улицы, посыпали потёки песком, уничтожали следы преступления мочными машинами, забивали тюремки невинными людьми, тайно закапывали убиенных, а в Белом доме, как в огромном крематории или на жертвеннике языческого капища, догорали безвестные воины русского сопротивления. По городу шлялись охотники за людьми, завидя безмолвный силуэт за шторой, стреляли по окнам, со звоном осыпалось на асфальт битое стекло, хрустело под сапогами механических людей в чёрных кожанках, по углам угрозяливо сутулились танки и бронемашины, бездельно торчали солдатские заставы, пьяные омовцы и собровцы, забыв свою честь и товарищей, погибших за русское дело, хлестали водку, затемняя разум, отпускали подзатыльники субтильным интеллигентишкам, ненавидя и презирая их за свою беспомощность и гадкое униженное состояние. Сумеречная душа милиции, призванной беречь простеца-человека, его судьбу и родоу, едва живая, но ещё не изгаженная совсем, с каждым прожитым проклятым днём каменела, наполнялась чертовщиной, черствела от грязной работы. . .

А здесь плескалась рыба мелочь, гулко хлопая, вставала на крыло вспугнутая ондатрой утица, дятел над головою долбил корьё, нудил и нудил над ухом последний осенний тощий комар. Боже мой, какая сумятица чувств, какая нескладница мыслей в голове, какое ожидает всех нас тревожное неясное будущее. Забиться бы, братцы мои, в такую щель, чтобы никто не сыскал. Но ведь совесть в груди ворошится, позывает к поступку, не даёт отсидеться в норе.

Подняли стопки. Нефёдов пропел:

“Кровь невинная струится по ступеням вниз ручьём. . .”

Выпили, крякнули. Проханов мельком глянул на меня и, отхлебнув ушцы, глядя задумчиво-прозрачно на тихие тёмные воды, сказал твёрдо, непрекаемо:

“В город пора. В Москву надо. . .”

“Ты что, Саша?” – пытался я возразить.

“В Москву надо. Там все брошены, унылы, подавлены. Газету будем делать, и немедленно. Хоть кровь из носу, нужна газета. Пусть все знают, что мы живём, не раздавлены, не пускаем нюни. Володька Бондаренко, со-бирай-ся! И немедленно шагом марш в поход. Труба зовёт!” – Проханов вскочил, отряхнул брюки от сора. Я понял, что оспаривать бесполезно.

. . . Рано утром они уходили, медленно исчезая в широком распахе улицы. В центре Проханов в сером длинном плаще, с кожаной папочкой под мышкой, одесную Бондаренко загребал пыль пристоптанными башмаками, ошую весёлым колобком катился Нефёдов. Их ждала неизвестная Москва. . .

С неба бусило, всё было глянцево от дождя. Земля готовилась к затяжной мрачной зиме.

3

ИЗ ДНЕВНИКА: “Для фарисеев, отщепенцев и горлопанов Белдом стал чёрным. Для многих русских людей, что плакали в то несчастное утро четвёртого октября, когда танки били прямой наводкой по жертвенным людям, не потерявшим совесть, бывший Чёрный дом оделся в сияющие ризы. Долго,

трудно, допустив множество ошибок и просчётов, пришли страдальцы к этому дню и этим днём очистились. И многие погибли тогда в неизвестности, хотя для Бога и нет ничего тайного, и будут они навечно записаны в синодик новомучеников за русскую веру, за стояние против идолища поганого...”

* * *

“Если мы унизили, растоптали революцию семнадцатого года, её героев и мучеников, то надобно отвергнуть и растлителей, духовных проводников кровавой пахоты; надо очистить сам аер, воздух русский от тех миазмов, что окружали нас во всём долгом пути по двадцатому веку. Но странное дело: отвергнув мученическую историю, ее делателей, — сам-то воздух, ту духовную атмосферу, в коей обитает человек до скончания века, вдруг оставили прежней, в тех же градусах жестокого хмеля. Ведь каждая кочка русского пространства по-прежнему освящена именами иль чужими, иль тусклыми, иль порочными: Либкнехта и Урицкого, Клары Цеткин и Свердлова, Землячки и Кедрова, Войкова и Цюрупы — всей той когорты, что безжалостной косою выкашивала Русь, укладывая её в валы, тайно, вероломно разоставляя по стогнам и весям пороховые бочки грядущего взрыва. Значит, и донныне на Руси нет перемен, и амфисбены, спрятав свою революционную голову в рачью нору, выставили наружу либерально-демократическую, чтобы мы растерялись вконец, и заблудились, и потерялись в существовании этого беса, и утратили к нему всякий интерес. Преступивший однажды клятву неизбежно предаст снова. Легко кающиеся на месте души оставляют выжженное зольное пятно. Двуголовые амфисбены, пронизавшие каждую пору опутанной, оболганной России, в любую минуту могут извернуться и показать новый, ещё более отвратительный лик. Господа капитал-демократы и верные внуки господина Троцкого, коли вы отказались от социализма, предав его анафеме, то сотрите с карты и имена ревностных делателей и устроителей мирового пожара. Отчего (к примеру) вы с такой лёгкостью перелицевали Лермонтовскую площадь, вдруг возревновав о старине, но рядом оставили Бауманскую?.. Убрали улицу Горького, но оставили метро им. Войкова, убийцы царя Николая Второго, и т. д.?”

* * *

“Наступило воистину новое время, новая точка отсчёта: это было до мучеников, это было до русской жертвы. Снова Россия после долгих лет режима решила испробовать себя, выказала себя народной республикой с явленным народным вождём. Октябрь-93 — это вспышка национального духа, вроде бы вовсе потухшего; Русь не умерла, но она оцепенело дремлет, дожидаясь каждый раз своего решительного часа. В октябрьские дни бессловесный народ вдруг обнаружил в себе дар речи”...

* * *

“Они погибли, но они и зажглись, как светильники на тёмном тревожном пути; отныне с этими новомучениками народ будет сверять свою совесть. Когда ударил снаряд в прибежище отчаянных, в последнюю надежду русских, то многие на многострадальной родине вздрогнули сердцем о сыне и брате, затосковали, оглянувшись в растерянности, а многие тут и возрыдали. И эти невольные слёзы есть полузабытая молитва по невинно убиенным. Такое было чувство, что Русь в тот миг причастилась из поминальной чаши”.

* * *

“Русские проиграли из-за простодушия и доверчивости. Припекло: эх... схватились за булыжники, стали корёжить мостовую. А их в ответ из танков и гранатомётов...”

Дилетантизм в политике убивает; но мученики вырастают лишь из дилетантов в политике, когда всё идёт от чувства, когда сердце и душа ещё не испроказаны цинизмом. Потому еврей-хитрован может стать хорошим дельцом, делателем денег, процентщиком, он может ловко уязвить Ахилла в пяту, но мучеником на просторах Руси ему не быть; для этого надо иметь родную землю и родную веру". (Тут я, очевидно, не прав. Стоит вспомнить генерала Рохлина. — Авт.).

* * *

"Впервые "герои России" безымянны, потому что они расстреливали свой народ; правители боятся мести, они повязывают друг друга кровью. Если бы Ельцин читал Достоевского, он бы не спешил с наградами".

* * *

"В кармане молодого офицера, погибшего в Белом доме, нашли квитанцию на заказанный себе гроб. Офицер знал, что идёт на гибель. Сколько мужества в русском человеке. Но, увы, с подобными мыслями так мало шансов победить, ибо он шёл умирать".

* * *

"Гайдар засиделся при дворе настолько, что даже сама фамилия приводит всех в содрогание; такое впечатление, что народ готов затянуть ремень на последнюю дырку, только бы не стало на властной стулке непотребного жестокосердного человека. А он, наивно-самовлюблённый, ещё кочевряжится на экране, как последняя профурсетка, строит благостные мины, как церковный причётник, кротко опускает долу глаза, показывая, какой он миротворец, только что не хватает "лаврушки" на голове, лишь на нём одном и Русь-то держится, а стоит слезть ему со стулки, так тут же огромная земля со всем неразумным тёмным народишком провалится в преисподнюю. Господи, откуда же в нём, бессовестном, такая немота души? Полноте, братцы мои, да есть ли вообще душа у него, а если и была когда, то давно уже запродана "ненашим". Чу! Слышно, как закупоривают столоначальника в хрустящий долларовый кулёк, и Гайдар онемел, закатив глазки в объятиях мамоны..."

4

Был в столице, отвёз в газету "Завтра" статью о московском восстании. Как-то естественно туда вошла и судьба последнего царя. Я высказал мысль, что Николай Второй — великомученик и русский святой, он своей смертью доказал торжество православного духа над нечестивыми, совершившими над государем страшное беззаконие. Вот и нынче русские неизвестные люди, что самочинно, лишь по зову совести своей съехались в Москву с дальних уголков родины и нашли святые концы свой под пулями иль добровольно взошли на костёр, — это тоже русские святые-новомученики, их имена будут занесены в вечные поминальные святцы. А значит, героическая смерть их не напрасна, но путеводительна, поучительна и ободрительна... Увы, моё впечатление не нашло отклика даже у патриотов старой национальной закваски; они вдруг посчитали, что мальчики погибли зря, им бы жить да жить, но вот коварные жестокие учителя завлекли их обманом, тем самым прикрыв свои честолюбивые жестокосердные замыслы жертвою наивных и чистых. Дескать, настало время Ивана Калиты, не с мечом надо идти на врага, но с миром, соборным путём малых дел отвоёвывать русское пространство. Даже такие заступленники народные, как Распутин, Ганичев и Крупин, свернули на эту тропу, посчитав жертвы напрасными. Чего тут больше — искренней жалости по павшим, интеллигентской наивности, зауженности взора, глубокого замысла, что от нас, простецов, скрыт, иль выстроенной неведомой тайной стратегии, которая несомненно в будущем и приведёт к победе? Но в эти дни, когда

Москва источала желчь и яд, когда ненавистники русского народа каркали в Кремле, строили потешки и оргии, ублажали свою плоть, предавать погибших запоздалой жалостью, умасливать в их огненном жертвенном поступке какие-то промашки, недочёты и недомыслие казалось мне постыдным и охульным, словно бы ступать начищенными гамашами по ещё тлеющим костям павших героев, светящимся сквозь пепел.

Страх струился по столице, многим казалось, что неминуемо жестокосердие, что все учтены, занесены в расстрельные списки, дескать, установлена слежка, прослушиваются телефоны, на каждого, кто возвысит голос за правду, милость и жалость, падёт карающий меч. Гайдар лоснился, будто его открыли паркетным лаком, ещё сладострастнее чмокал, как мой свинтус Яшка, и казалось, что с оплывших губ сползали ошметьями чёрная икра и сливочное масло; полководец Черномырдин походил на шахтёра, которого плохо помыли, иль на пожарника, неохотно тушившего Белый дом, только что снявшего респиратор с разопревшей физиономии, и белые глаза его напоминали круто сваренные яйца; он говорил шершаво, двусмысленно, с ухмылкой, иногда плоско шутил, и над этими глупостями записные острословы-либералы постоянно потешались, при этом блюдя дипломатию и демократию. В русской истории кто-то из полководцев брал штурмом Измаил, кто-то Париж, кто-то Берлин, а Черномырдин, не церемонясь, взял приступом парламент и своей победой был чрезвычайно доволен. Ельцин, очнувшись от пьянки и видя, что на эшафот его не ведут и галстук на его шею не намывают, сейчас с загубом опохмелялся и оттого был чрезвычайно добр, торопливо раздаривал чужое, дирижируя верноподданным демократическим оркестром; тут же на кормление отдавались области, дарились заводы и фабрики, банки, рыболовецкие флотилии, армейское вооружение, городские кварталы, министерские кабинеты, подмосковные земли, генеральские звёзды, бывшие советские дачи, имущество, золотые прииски, кладбища и крематории. Русский торт был столь многослоен и огромен, что ни одна самая зубастая акуля пасть, давясь от жадности, не могла разом проглотить кусок, но все, пользуясь моментом и выпавшей удачей, косоротились и косоглазились от усердия, норовили оттяпать ломоть потолка. Главное – ухватить, упрятать под себя, наложить волосатую хозяйскую лапу, застолбить, заклеить, обнести забором, а там жизнь покажет...

Честно говоря, гнусно было и грустно, как-то непродышливо в этом чужом застолье. Как бы присоседился с краю скамьи, только чтобы не упасть, и мнится, что каждый в рот тебе смотрит, считает куски: а по чину ли ложкой почерпнул да блюдёшь ли меру и место. Вроде бы и тарелка-то золотая с чудным рисунком – голубое небо в лёгкой дымке недавнего пожара, кресты куполов, золотая тонкая поволока на रहेющих берёзах – но видны отпечатки жирных губ и хватистых пальцев; вроде бы и тех же щей плеснули черпак, но уже из отстоя, с редкими кляксами жира.

Во чужом пиру тяжкое похмелье, воистину рюмка в горле колом встанет. В своём кругу растерянность, подозрительные взгляды исподлобья, де, мы-то боролись, а ты где прятался, какая-то всеобщая призатаённость, угнетённая безденежьем, всяк выживает, как может, кто мог – уже скучковался, обнесли свою семейку высокой оградой, доступа чужим нет, кто не успел – опоздал навсегда; на улицах пьяные девки, в мусорных баках роются старики, что-то наискивая съестное в железных вонючих ящиках, чьи-то бабени горбятся в метро, прижавшись спиной к колонне, чтобы не упасть, жалостно склячившись, с протянутой изморщенной горсткой, – и столько безнадёжности, столько тоски в выцветших глазах, так туго стянуты губы в нитку, только бы не выстонать: “Милые, подайте грошик на пропитание”, – что впору заплакать. Умрут – так закопают их привратники в чёрном целлофановом мешке, поставив крестик за номером... А у выхода такие же старухи и старики торгуют всякой всячиной, что вынесли из скудного домашнего зажитка на улицу: у них ещё теплится надежда, что здесь они заработают приварок к жалкой пенсии.

... Вот она, свобода для бессловесных, кто вовсе потерял всякую надежду вспрыгнуть хотя бы на ломовую телегу перемен под хвост угрюмого вола, что вытащит из непролази русского бездорожья на укатистую дорогу “цивилизации”... Затяжной мрак над Москвою, пропахшей дешёвой сивухой и собачьими натирками; дышишь с натугой, принуждением, будто невдали черти развели смердящие котлы. Солнце выкатилось из хмари, а на нём дымчатый

крест. Явленный русский крест погибели. Кому рожать и зачем? Девки, виляя кошачьим блудным хвостом, поскочили на панель с таким же восторгом, как раньше русские барышни подымались на церковную паперть, чтобы там, в старинной церкви, в полусвете мерцающих свечей, обтекающих воском, вымолить у Бога наречённого на всю предстоящую жизнь. Офицеры стреляются, устав от безденежья, разбитные парни с золотыми толстыми цепями на шее пустили в ход “калаши”, отбирают у жирных котов свою долю, девятым валом заливают русскую землю лютый разбой. Близкого друга-братку заменил автомат, он никогда не предаст, если протираешь его ветошкой и смазываешь маслицем; милицию — уголовник с “макаровым” — он всё уладит, утрясёт. Что легко даётся, так же легко и уплывает сквозь пальцы. Зачем кого-то рожать, плодить нищевродов, тянуть по жизни, слушая попреки, — внушают деревенской глупой девчонке. Уж лучше пусть не являются невинные детишки на белый свет, чтобы не знать греха и неволи. Акушерки убивают усерднее пулемёта “максим”, два миллиона абортотворцев в год. . . Узаконенный отстрел. Английская масонистая старуха Тэтчер решила за нас, что в России должно жить не больше пятнадцати миллионов. Феминистки, “лаховы и арбатовы”, тут же пустились во все нелегкие, словно их натёрли скипидаром, регулировать русское народонаселение. Девушка Сорокина, гипнотически сверля Россию с экрана “наркотическими глазами”, запела осанну французским резиновым изделиям. Им велено урезать Россию (пока втрое), а детский плод пустить на снадобья и микстуры: ростовщик, дитя мамоны, должен жить вечно. . . Бушующая раскрепощённая плоть загнала душу в потёмки. Больше секса — меньше детей. А потому гуляй, рванина, от рубля и выше, спеши пригнать на лоб, помни: от первой рюмки до второй — пуля не должна пролететь. . . Хотя один день, да мой. . . Русский крест встал над Россией с октября девяносто третьего, — умирать стали чаще, чем рождаться, на миллион в год; в плодущую женскую родовую забил смердящий ростовщик долларовый скруток; пустую, обезлюженную землю легче отобрать и поделить, уже никто не поднимется на тебя с топором за пласт рыжего русского суглинка. Были прежде лютые, оглашённые мужики, так пали за землю свою в гражданскую, в Тамбовское восстание, в десятках сибирских бунтов, в раскулачивании, в расказачивании, в Отечественной войне. Вот и пришла, наконец, мстительному процентщику долгожданная воля, когда некому уже упрекнуть, что пьёт от чужую кровцу. . .

* * *

С неделю пробыл я в городе, а будто вечность прошла.

Деревенская тишина оглушила, словно выпал из крупорушки в другой мир. Вроде бы та же русская земля, те же небеса, но дышится уже по-иному, и взгляд не спотыкается, но обнимает с ласкою осиротевшие тальники по бережинам, печальную берёзу, отряхающую из тончайшего кружева ветвей последний лист, толстые половики иглицы в сосенниках, латунное зеркальце дорожной лужи, как бы призатянутой лёгкой изморосью. Уже настоялось в лесах баней, мокрым венником, закисающим грибом, долго отмокавшим в кадushках и готовым к засолу. Пахнет груздём, волгуницей, поздним опёнком, хотя о былом грибном нашествии уже ничто не напоминает, как бы ни шарилась ты взглядом под подолами елей и по травяным опушкам; гриб за последнюю неделю иссяк, источился, и эти бесчисленные орды чернушек и гладышей, маслят и козлят, эти красные мухоморные полки вдруг провалились, как сквозь землю, словно бы и не были веком. Но зато в утеху грустящей в предзимье душе родился вот этот грибной, кисло-сладкий дух просолившегося гриба. Всё-таки как странна и непередаваема в своих чувствах и затеях мать-природа, как внимательна и утешлива, но порою и сурова, строга и учительна к бесполовым детям своим. . . И грусть кругом разлита, такая грусть, что впору заплакать, как на поминках. Иной ещё вчера на пиру был, белое винцо рекою, разлил песни, вроде бы жить никогда не устанешь, а нынче лежит христовенький во гробе, растянув ножонки в чёрных блестящих гамашах. . .

И только в ломе, в непролази, где часто накрестило сухостоем, в завалах мшистой падали и трупье ещё можно наискось серушку и зеленушку, последний лешевый подарок, по-настоящему годный к жареву, вареву, засолке в

зиму, ну и, конечно, в пироги, — гриб внешне непритязательный, даже некрасовитый, но удивительно жизнестойкий, надёжный в хранении и острый по вкусу; уже и морозы иной раз грянут, всё заиневеет, лужи покроются ледком, и порошей притрусит распутики, но стоит лишь середка дня пригреть солнцу и на вершок оттепиться земле, как изломанный от тягостей рождения зонтик серушки (серой рядовки), плотно стоящей на толстом корню, вдруг вылезет из-под валежины и лесного сора прямо на твоих глазах, наверное, почуяв твой охотничий взгляд.

Леса проредились, высветлились, высквозились, оттого шире, охватнее стал взгляд; опавший лист скатался в мягкий цветной ковёр и уже не шуршит под сапогом, небо охладело, и постоянный светло-розовый туск выявился на дальних занебесях. Значит, на родине моей, в Беломорье, уже похолодало, там зародилась зима, и вот, как вестник её, за перелётными станицами гусей потёк с Севера на Рязанщину приглушённый, проступающий как бы сквозь землю грустный свет. Рыжие осоты, свалывшаяся в колтун прибрежная трава, глубокая, неохватная взгляду матовая чернь бочажин, глухая темень запаздывающего с каждым днём утра, когда воронёные вершины ближних боров угрюмо, траурно выпячиваются из ночи, — всё это не только предвестие уже близких холодов, наступающих крестьянину на пяты и заставляющих поторапливаться, но и знаки последнего ненадёжного тепла, когда в полдень бабочка-траурница, залетевшая из лесу, как наваждение, трепещет расписными крылами на прогретых ступеньках крыльца, а ночью Большая Медведица сторожит землю, разлэгшись над коньком моей крыши. А в позднем вечеру звёзды над головою крупны, с кулак, пылающие, как раскалённые добела уголья, с исподу отсвечивающие алым, всё ближе, ближе они к земле, лукаво подмигивают, словно бы заманивают, притягивают к себе (такую силу имеют), и невольно, озираясь вокруг, как бы чувствуя за спиной дозирующую нечистую стражу, начинаешь считать остатние годы, молиться и томиться, всем телом ощущая угрюмую тяжесть неба.

Стихийная природа обладает всей полнотой незыблемой власти над человеком, она может карать и миловать, поднимать душу в занебесье иль опускать в самые бездны, но странно, что не умеет говорить, замкнулась, приотдвинулась от нас, оставив вещей неразгаданный язык в своей погребнице... Её любовный шёпот, её вещие неслышимые слова перелились в неосязаемое, что не взвесить, не измерить, как не взвесить и не измерить человеческую душу, но что мучительно-радостно играет на струнах нашего чувствилища и чему нет объяснения.

Мы невольно восклицаем, глядя на вечереющий закат в алых перьях облаков, подёрнутый изумрудной дымкою: “Боже, как красиво!” И тут наш язык спотыкается, немеет, нам рисуется уплывающая в запад Жар-птица, она размывается сиреневыми сумерками, оставляя нас в безотчётной сладостной грусти. И все тщетные попытки объясниться с волхвующей природой похожи на разговор с глухонемым. Но зачем природа обвораживает нас, чарует, напояет видениями, тревожит восторгами, если не может иль не хочет объяснить своих уроков, наполнить их учительским смыслом? Почему при виде сереньких русских картин наше сердце превращается в талый воск? Ведь даже потный вседневный труд для куска насущного, эти лесовые промыслы — охота и добыча рыбы, где, казалось бы, измаянной душе вовсе нет места для восторга, — стали бы человеку за непосильную и бессмысленную тягость, кабы внезапно не вспыхивали в груди томительные зарницы, отпирающие оковы из тугих телесных крепей...

* * *

Вот и первый снежок наконец-то выпал, лёгкий, пушистый, какой-то радостный, сулящий скорые перемены; и никакими огурцами он для меня не пахнет, как придумали литераторы, но пахнет живой водой-снежницей, чистотой, младенчеством. За окном мир высветлился, принакрылся крахмальными хрусткими пелёнами. Деревня сразу повеселела, и человеченко на белой переневе, выбредши из своих ворот, далеко стал виден, как дорожная вешка в чистом поле. Каждый насельщик разом обозначил себя, словно бы вылез из бурьяна на белый свет. Вот и первые тропки протянулись, прошли

улицу крупными стежками. А воздух стал лёгкий, хмельной, и хоть небо мглистое, волочится серыми лохмами над самой головой, но чувствуется, что посыльщик зимы, её гонец, вовсе не случайно примчал в рязанскую деревнюшку, во глубину мещерских лесов...

И тут сразу валенки запонадобились; ау-у, где вы запропастились; всё вроде бы на лежанке толклись под рукою вместо сголовьица, а тут спрятались в шабалах, окутках и старых фуфайках, что пригождаются на дворовых работах и сбрасываются для просушки на печь. И обнаружилось не ко времени, что валенки, конечно, дырявые, сбитые в пятах, улицу видать, и надо срочно садиться подшивать, ставить кожаные обсоюзки, смолить дратву, искать шило с крючком, иглу-парусницу и крутить из проволоки протяжку длиной с голенище... Прежде подобный снаряд был всегда под рукою, потому как не было у нас в доме мужской руки, и мне, парнишонке, приходилось вести это заделье, готовить в зиму катанцы. И до того при свете керосиновой пиликалки наклониваешься над подмёткой, прострачивая её да опосля подгоняя под плюсну, обрезая ловко ножом-засапожником, что руки изрежет дратвою в кровавые рубцы, а в глазах устроится мокрая алая мгла...

Но это было когда-то, в далёких летах, кои отлетели, как папиросный дымок, и нет теперь в доме того инструмента, да и лень одолевает, вот и сложишь торопливо газету вчетверо и сунешь в валенок, спеша обновить перенову, оставить на ней свой следок. А под снежной пеленою пыщится изумрудная влажная трава, она как бы прилипает к подошвам, валенки набухают, делаются тяжёлыми, наводяневшими; мой молодой кобелишко, касимовский лосятник, ластится, прыгает на спину, сбивает меня с пят, цепляет за рукав, точит чёрным, как кирзовое голенище, носом первую порошу и тоже шалееет от радости, с подвизгом смётывается в сторону леса, как бы зовёт за собою. Заслышав жалобное поскуливание моего гончака, от соседа Васяки трусит лисьей окраски вязкая сухорёбрая сучонка, и они тут же серёдка улицы исполняют свой обрядовый танец, потом прислоняются головами, искоса поглядывая на меня сизыми раскосыми глазами, что-то шепчут друг другу на ухо и вдруг трусят по-за огороды лениво, вразвалочку, словно бы нехотя, и перейдя какую-то чуткую собачью границу, когда их не окликнули, обязательно не позвали во двор, неожиданно срываются в намёт и исчезают на опушке. И скоро словно бы серебряные разливистые трубы заиграют в березняках, и этот лай, порою похожий на счастливый детский смех, покатится волною, не прерываясь, сначала по ближнему лесу, и отзвуки его эхом перельются в болотины, оттуда на вырубка и сырые чернолесья с тяжёлыми папахами снега...

Значит, зайца подняли, идут вдогон, подбивают несчастного в пятах, не дают ему сделать скидку, отдышаться, войти в ум, ибо секунда промедленья смерти подобна; и сейчас косою даёт стрекача, старается выметнуться на дорожку, где хоженно и езжено, но от сучонки Тайги, что уже за хвост прикусывает свою жертву, увы, не отмахнуться — такая сметливая и настойчивая эта “верхочуйка”. И сосед Васяка сутулится возле меня, кособоко опершись на оградку и сбив ухо зимней шапки, как бы тоже гонит вместе со своей вязкой сучонкой, торопливо смолит сигаретку, и в его хмельном, потерявшем тоску взгляде те же, что и у гончей, настойчивость и напор. И тут гонный лай Тайги вдруг резко обрывается, только мой Барон ещё запоздало взрыдывает; печальный заячий вскрик, словно бы восплакал ребёнок, прощально доносит до деревни...

“Взяла, — спокойно итожит Васёк и потухает всем видом, — сейчас брюхо выжрет, а остальное домой притащит. Хозяину на суп. Вот увидишь. Поспит под кустом и вернётся”.

Я и не спорю, мысленно соглашаюсь, ибо знаю нрав сучонки.

“Пора патроны набивать...” — говорит приятель, с некоторой тоскою поглядывая на меня.

“Синепупый, опять кишки нажёт. Володя, не давай ему ничего! — кричит в полуоткрытое окно мать. — На колодец бы сходил. В доме воды ни капли”.

“Вода им, вода, — шепеляво огрызается Васёк. — Иди на болото и напейся... Воды им дай, хлеба дай, пенсию дай. Всё им дай... И всё мало. Вот народ пошёл... А если мы пить бросим, где деньги взять на пенсию? — в который раз изрекает Васёк свой железный аргумент. — Не подумают о том, ума не хватит. А пить, Владимирович, думаешь, легко? Это такая трудная работа, ой-ой. Железное здоровье надо иметь”.

И я снова соглашаюсь с приятелем, ибо по себе знаю: день примешь на грудь, и если на другой выпивка сметнётся, то уж ко второму вечеру в голове контузия, в спине лом, на душе помойка и на сердце тоска, что вот как бездарно протекает жизнь. Нет, прав Васяка: чтобы пить, надо иметь железное здоровье.

Мне и соседку жалко, а сына её Васяку и больше того, как жалко всякого, у кого жизнь не задалась, идёт на облом, и только на дне стакана что-то и светит ему лучезарно, скрашивает унылые дни. Посовестить бы, дескать, сам ты во всём виноват, жизнь променял на вино, — так язык не поворачивается... В каждой судьбе таится какая-то таинственная заковыка, которую не распознать; эта чертовщинка, схороняясь, с самого рождения и затевает с человеком безжалостную игру...

5

Вроде бы снег, выпавший на мокрую землю, долго не живёт.

А ночью вывездило, и под утро деревня как бы спряталась в хрустальную склышечку, и крыши, и деревья, и череп дороги ушли под ледяной искристый панцирь, воздух стал студёным, сладким, бодрим, промывающим заскорбелую плоть, как хрустальная вода из родника. Еда в чугуне замёрзла, стоит боровок Яшка в загоне с унылой мордой, с печальными тёмными человеческими глазами, на дне которых затаился немой укор. Трясёт, завидев нас, враз увядшими примороженными ушами, дескать, проспите вы, никчёмные, всё на свете, а кто кормить меня будет? Шкура приняла какой-то синеватый грязный оттенок, а изнобная волна проливается из сального загривка до петьки хвоста.

Да, меж дров в морозы не выживешь: там сквозит, тут поддувает меж поленьев, как ни затыкивали сеном. Это тебе не Кубань, где можно зарыться в грязь подле речки по самый пятак и спокойно пускать душистые пузыри. Гончак понюхал хряка, лизнул в остывшие ноздри с каплями измороси, облизнулся и завистливо глянул на недосыгаемый чугун с варевом, обросший сосульками: экий ты привереда, подумал, наверное, кобель, жри, что подали, и не мучай хозяев, у них и без тебя голова кругом. Не время вроде бы колоть, ой, не время — стонет хозяйское сердце, подсчитывая в уме несомненные убытки; ещё бы с месячишко надо поддержать свинёнка, дать подрасти, пока окончательно не наладится зима, а там как Бог положит. И в этой временной оттяжке краем проходит какая-то своя подспудная жальливая мысль: а вдруг что-то такое необычное случится в мире, такой всеобщий переворот, что и резать, быть может, не придётся свинью, а настанет у неё жизнь вечная-вековечная. Эх, мало ли куда нас уведёт голова садовая в пустых размышлениях, когда дело уже на пороге, не терпит проволоочки, и надо к нему решительно приступить. Вот окосоротит от простуды скотинку, иль, не дай Господь, падёт мор, тогда все труды насмарку; а в крутое безденежье, братцы мои, шматок мяса во щак — держава и щит зыбкому нашему быванью.

Казалось бы, зачем деревенскому деньги? Всё своё, всё под боком — от свинёнка до кролёнка и курёнка. Зря разве горбатил крестьянин, не разгибая спины, всё лето от рассвета до заката? Но так мыслится лишь городскому человеку, забывшему расклад современной жизни на земле. Хлеба купи, сахарку там, маслица постного и коровьего, конфеток, вот и вафельки захочется для души, чаю-кофию, соли, спичек, рыбки, колбаски, яблочка, коли свои помёрзли в этом году, а по ботинкам в семью, да верхнюю одежонку, да шапёнку, да сапожишки, да бельишко, топор и косу, насос да тачку, тазы и лопаты, мочалки да мыло, комбикорму для скотины и зернеца для птицы... ну и рюмочку с устатку. И это лишь малая доля того, без чего в избе непрожиточно. (Я уж не завожу речь о том смекалистом, хозяйственном русском мужике, который бы захотел вдруг из своего огорода вырваться в фермеры, соблазнившись на сладкие посулы; но там денег потребуется вагон и маленькая тележка. С косой да тяпкой много на земле-матушке не покрутишься, живо горб наживёшь да и ноги протянешь. А заманивать соловьиноголосые либералы ой как умеют; только уши раствори навстречу — живо наколоколят с три короба.)

Нет, живая копейка в деревне не помешает, с какого боку ни посмотри, особенно если ты старбенья-вдовица, твой двор на честном слове стоит и без

бутылки его не подпереть и не обогреть; только одно томит, где перехватить его, тот разнесчастный рубль, который московские толмачи, толкачи и хохмачи называют “деревянным”, если колхозы на спине, дворы коровьи упали, машинешки сдохли, торчат на пустырях, как скелеты вымерших динозавров, уставя в небо хоботы...

Вот и озираешься вокруг с недоумением, кто бы тебе помог. С рукой протянутой не пойдёшь по окрестным деревьям, некому подать, и корчужкой на студёной печи как-то страшно прозябать остатние денёчки, дожидаясь одного конца.

“Ау-у!” — и нет ниоткуда отклика. Жена в растерянности смотрит, уповая на меня. Но за кого ей ещё держаться? Ничего, утешаю, не тужи, “Бог не выдаст, свинья не съест”; вон похрюкивает в загородке, сердешная, не подозревая о своей участи. “Будет тебе белка, будет и свисток”, — вспоминаю детскую присказку. И как в воду глядел. В какой-то из октябрьских дней подходит к калитке письмоносок Шура и суёт в ящик конверт. А в том конверте, братцы, я обнаруживаю десять тысяч рублей одной бумажкой, — красивую цветную денежку, упавшую с неба на нашу избу в глухой рязанской стороне, и известие от института “по изучению резервов выживания человека”, что это ленинградское учреждение обязуется добровольно платить мне, русскому писателю, впавшему в нужду, ежемесячную зарплату в тридцать тысяч... “А-а! — торжествующе говорю жене, потрясая крупной ассигнацией, — вот ты упала духом, а я тебе говорил — не падай духом, мир не без добрых людей!”

И следующим же днём мы поехали на станцию, купили мешок сахарного песку...

* * *

А морозы не отставали, и пришлось боровка колоть. Жалей не жалей, а куда деваться? На то и роцен свинёнок, чтобы угодить в жаркое. Я пригласил Сережка, деревенского забойщика; он побродил возле загона, присматриваясь к боровку, похмыкал, пошмурыгал утиным носом, почесал лысину, на которой красовалась большая синяя желва, и не торопясь наточил нож. Жена заплакала и ушла в дом.

“Лабуда, Вовка, — сказал Сережок, пробуя ногтем лезвие ножа. — Всё лабуда, ты не переживай. И не бери на ум. На то и скотинка роцена. Ты налил бы чего. Ну, сам понимаешь... Не пьянки для... Стареть что-то стал, сердце тормозит”.

Я вынес полстакана самогонки, Сережок, не закусывая, выпил, утёрся рукавом. И всё это время украдчиво подглядывал за боровком, наверное, как бы ловчее ударить, а тот стоял, отворотясь, прижавшись боком к изгороди, широко, устойчиво разоставя коротенькие клешнятые ножонки. Может, уже чего учуял?

“А теперь поди, принеси в тазу горячей воды”, — приказал забойщик. И когда я вернулся из бани, наш Яшка уже безмолвно лежал на орошенном кровью снегу. Боровка опалили, промыли, достали черева, заволокли на холодную веранду остывать. Жена, осушив слезы, нажарила на сковороде печенки, и мы, благословясь, под такую добрую закуску хорошо выпили самогонки.

Кто-то бормочет, упрекая, иной остерегает, иной клеймит, дескать, самогон — вещь зело скверная, от него глаза пучит, а желудок мучит; знатоки же, кто на домашней выгонке собаку съел, уверяют, что это питьё по отворотному духу, как одеколон французской выделки и чем-то смахивает на шотландское виски, но пропущенное через змеевик раза два, а после через уголек, да выдержанное на калгане, иль чесночке, иль травках лесных, любую хворь придавит и кому-то вкуснее любого магазинского винца. Ну, химикам, профессорам и академикам старинного русского напитка виднее, у них своя цивилизованная технология выгонки, трубки из медицинского стекла. А мы — простецы-люди, и у нас всё по-деревенски. Вот стоит у меня, к примеру, бачок на газовой плите, для охлаждения — снег или мокрое полотенце, намотанное на змеевик. В бачок подливается барда из старого варенья, иль из сахарку на дрожжецах, иль томатной пасты. Процесс скучный, надо сказать,

утомительный, но и желанный сердцу, если учесть всю интимную обстановку этого сермяжного запрещенного действия; прибытку большого не дает, но и кармана не зорит, когда из килограмма сахарного песка получается почти литр горячительного. В революционных условиях самогонке нет замены и не будет, сколько бы с нею ни боролись: это “адекватный” ответ народа безудержному цинизму “чесночной” власти. Гонят-то питье не от хорошей жизни, но когда непроходимая бедность долит и каждая копейка на счету. И какими бы казнями ни грозили народу, какие бы рогатки ни выставляли власти крестьянину, тем желаннее будет их преодолеть или упасть в самую-то бездну, из коей уже не достанут. Это “наш ответ Чемберлену”. Помню, что на родине моей, в Поморье, самогонку никогда не гнали, там брага выстаивалась в лагушках на жаркой русской печи; питье сладкое, душевное, как бы дамское, но с ног валит и человека делает глупым на голову, если оприходуешь граненых стаканов этак четыре-пять. Но когда в государстве спокойно и прожиточно, народ сам отворачивается от любой домашней выгонки и переходит на “магазинское белое вино, ибо оно культурнее и вкуснее”. Помню ещё из детства: когда собирались угостить дорогого гостя, то отправляли гонца в лавку за бутылкой...

“Не говорю – не пей, а говорю – не упивайся”, – внушал древний “Домострой”, и в этом была своя “посконная истина”. Человечество выпивало всегда; ещё в пещерные времена квасили древесный сок, делали барду из корней, сушили хмельные травы, жевали корешки и грибы. Позднее “садили меда”, давили винную ягоду, а когда стали пахать землю и водить скот, то невольно ухватились за кумыс, пиво, брагу и самогон. А в средневековье занялись водкой. Пили до Христа, пьют и при Христе, “ибо вино – это кровь Христова”. Из исторических справок дошло, как Алексей Михайлович слал на Соловки грозные указы монахам, чтобы квасов из трапезной в кельи свои не принашивали, да из того квасу хмельного пива не ставили и самым непотребным образом не упивались да стены монастырские спьяну не поливали. Дело, значит, не в питье, но чтобы не алкать винца до непотребного состояния, до безумия, до потери памяти, до положения риз, чтоб не надираться в стельку, вдребезги, вдрабадан, по-свински, вусмерть, – а уметь остановить себя перед пропастью. Пить пей, да ума не теряй.

Человек до скончания веков будет выпивать, ибо сам хмель в коренной памяти его, в руководстве телесным составом; винные дрожжецы заложены в человечью плоть самой природой для закваски и брожения, и без них ему нет жизни, ибо сам человек – это энергетический аппарат, коему для выварки силы необходимо бродильное вещество. Не случайно же лучшие лекарства настояны на спирту...

Вот кичатся мусульмане перед Европою, а особливо перед русскими, дескать, они вина не потчуют и оттого, дескать, нравом умеренны и духом сильны. Ой, так ли? Если бы не потребляли мусульмане дурмана, то давно бы вымерли. Нет, как и в праисторические времена, жуют травы наркотические, сыпят порошок на ноздрю и нюхают через губу, набивают в ноздрю, курят кальяны и от того душистого дыма впадают в цветные сны, едят галлюциногенные корешки, курят “план”, кладут за щеку анашу, а после плюются слюною, как сердитые верблюды, и вот этого-то сладкого яду насылают с торговцами белому человеку, чтобы он вовсе убыл со свету... Но что мусульманину хорошо, то христианину смерть. У каждого народа свое хмельное по земле его, по родове, по климату и составу крови. Надо бороться не с вином, но с пороками, которые его окружают, и с нечестивыми, которые этим порокам кадят...

Нет уж, братцы мои, коли без бражного совсем худо, так лучше самогончику “хряпнуть стакашонок”, чем убивать себя “колесами” отравы, прибывшей с Афгана и Китая... Родной напиток-то, вековечный, да и запашок-то свойский, от натурального продукта... А то, что лишаются иные ума, так это не столько от безмерного питья, но больше оттого, что сознательно сбив русский человек с биологического ритма, с ровной поступи природных заповеданных часов; потерялся он в неведении, как дальше жить, и ослепленная душа его православная пошла вразброд, запуталась в окружении “не наших”... Лиши русского человека путеводительного света, он и в трех соснах заблудится, разобьет себе лоб, и с этих горестных болявых шишек как ему не запить? Но вместо того чтобы образумить, дать в руки фонарь и вывести на тропу, его тычут в спину батожем, заталкивают в болота и сыри, в глухую таежную

падь, да еще и вопят, де, пьяница ты, нероботь и непуть, и толку от тебя ни на грош, такой ты распустой человек...

И вот когда кабанчика Яшку кололи, у меня на газу покипчивал бачок с бардой, куда я доливал манеркой из молочного бидона с бродивом, и первая трехлитровая банка "исподовольки" уже накапала.

"Первачок", который я выставил на стол, самый хорохористый, градусов под семьдесят станет, еще теплый (и в этом его особая прелесть), мутновато-белый; терпким отталкивающим запахом он сразу забил нос, крепостью затормозил дыхание, но под сырое деревенское яичко ладно так укатился в утробушку, а после плесканулся обратно в голову и что-то такое с ней сотворил, разладил, рассиропил, что на мгновение стало на душе слезливо. Стало жалко не только дорогого поросеночка, которого так долго пестовали и выхаживали, но и всех людей на свете, отчего жена снова всплакнула, но уже легкой слезою. А под душистую нежную Яшкину печенку, выжаренную на шкварках, вторая рюмка полетела соколом, третья скользнула мелкой пташечкой, и стало в груди так предательски (по отношению к боровку) радостно и просторно, что даже снег за окнами вдруг обрел какую-то праздничную осиянность, словно бы по деревенской улице специально под нашего кабанчика раскинули гостевые крахмальные скатерти. Вот и весь нынешний жалконький русский пир во время большой чумы.

Сережок разговорился, русые потные пряди сбились на лбу, глазки намаслились, по-доброму озирая мир, что его окружал. Закусывал он щепетильно, стесняясь каждому куску, словно бы боялся объесть нас. Но так он себя вел и при советской власти, когда стол собирали часто и щедро. Я-то уже знал его привычку, что вот сейчас, вернувшись из гостей домой, Сережок сразу потребует от жены собрать на стол, "ломанет" тарелку борщеца, в котором ложка стоит, да поверх огрузит капустной солянкой с бараньей грудинкой...

Тут пришла Зина в зеленом шерстяном платочке по самые брови, глазки голубенькие, пытливые, треугольничком, как васильки в травяной повители, столько тонких морщин насклось в обочьях. Притулилась с краю лавки, как-то бочком, на мужа взглянула испытующе, как бы проверяя, хорош-нет, сколько уже принял на грудь и дойдет ли самоходкой до своей избы. От рюмки старенькая не отказалась, но лишь пригубила, смочила губы, закусила пенью...

"Дуська, всё лабуда, милая моя. Всё ладно, всё хорошо, — утешал Сережок хозяйку с чистой душой. — Все сотрется, к утру печаль забудется, а жизнь будет продолжаться, такое мое постановление. И ты, милая моя, не страдай, всё лабуда. Скоро придет переменеенье света, а вы будете с мясом, и оно вас не коснется... Вовка, скажу тебе, и ты молодец, — сияющий взгляд Сережка сметнулся на меня. — Какого боровка подняли. Пуда на четыре..."

"Бери выше... На пять, Сережа, на все пять, а может, и на шесть", — с гордостью поправил я мужика.

"Может, и на пять, если с головизной и требушиной, — легко согласился Сережок. — Ему бы ещё рость да рость, весу нагонять, да вишь ты, жизнь не задалася, уши отморозил. А так ладный был кабанчик, всё при ём. Да без ушей какая жизнь. Без ушей никакая баба тебя не полюбит, — он засмеялся. — Кому как поноровит... Вот мы было строили в Аносово баню. Обедать, значит, мужики собрались. А я за повара. Только вода в котле закипела, тут курица от петуха летом летит. Я её хватъ, да прямо с перьями в котел. И больше никакого. Потом ели да нахваливали".

"Эх, трепло ты, трепло, — с укоризною поддела Зина, — все треплешь, огоряй, что ни попада, — говорила старушка, теплым взглядом озирая благоверного и как бы не узнавая его, изжитого, скуластого; да и то, трудно нынче признать в муже прежнего гармониста-гулевана: кожа на лице серая, ноздреватая, нос утушкой, в зубах проредь, в волосах проседь, и на плешивой макушке торчит большая голубоватая шишка. И как бы оправдывая такие губительные перемены, сказала: — Это он сейчас так стесался, обрезаться можно. А был харястый, щеки из-за ушей видать. В каждой деревне по бабе, никакую не пропустит, брюхом придавит. Эхма... поплакала я с него. Вот сколько поллитр им выпито, столько моих слез налито".

"Да ну тебя, язва. Весь банкет испортила", — у Сережка и настроение пропало. Как-то быстро собрался и ушел. Слышно было, как похрустывал под

валенками снег, вот хлопнула калитка – и всё стихло. Зина, сбив с уха полущалок, упорно прислушивалась к улице, будто угадывала по шагам, куда движется сейчас благоверный.

“Ой, Зина, Зина, любви все возрасты покорны... Ты, смотрю, и сейчас Сережка любишь”, – подковырнул я старенькую.

“Какая тут, к лешему, любовь... Любовь – это когда петь хочется и плакать сразу... Уплыли муде по полной воде. Всё поизносилось в тряпку”.

И Зина поспешила за мужем. Видно было, как робким желтым светом омыло стеклки напротив. Зажгли керосиновую лампу и мы. Разоренный стол смотрелся печально. Бревенчатые стены налились охрой, на белой русской печи нарисовалась чья-то кудлатая борода с кривой мочалкою бороды. Гончак, объевшийся требушиной, лежал под порогом на половичке и спал, похрапывая, как наработавшийся мужик. И так вдруг загрустилось, такая тоска сошла на сердце, словно бы лишились чего-то самого дорогого. Ах ты, боже мой, как привязчив русский человек к дворовой животинке, как близко подпускает к душе всё живое, от какого-нибудь драного кошака и собачонки до ягнушки и коровы, что невольно забывает их подневольную участь; и вот день пришел и жребий надо бы исполнить, так вроде бы к неизбежной участи подогнали самих хозяев, и нет в них никакой радости... Казалось бы, такая тягость свалилась с горбины: вот и печь теперь топить не надо жене лишней раз, варить Яшке еду, волочить ухватом ведерный чугунок на деревянном катке, вставать спозаранок, рубить свекольник и кабачки, варить картоху. Но, поди ж ты, затосковалось... В голове сама собой толчется привычная забота, как обрывок от уже прожитой мысленной пряжи: время к ночи, а боровокто у нас не кормлен, и сейчас, просунув морду меж березовых пряслин, похрюкивая отрывисто, с напряженным ожиданием всматривается темными, как маслины, глазами в сторону крыльца, где вот-вот должна появиться кормилица с картофельной мешанкой...

Я со свечой иду на веранду, где на белой простыне остывает наш Яшка, деловито оглядываю свиную тушу и невольно примериваюсь, как буду рубить. И чувства мной владеют уже совсем другие, хозяйские: и нам хорошо, и Яшка, наверное, не в обиде, простил нас. Пестовали, обходились с ним хорошо, голодом не морили, и сейчас, поглядывая с небес, он умильно, ободряюще похрюкивает нам: дескать, крепитесь, бажонные, а я, чем смог, вам помирволил...

Следующим днём я занес на веранду колоду, разделал боровка топором, нарезал и насолил целый ушат сала. Теперь до весны хватит. Заднюю ляжку отсадил другу Проханову, как уговаривались. Собирался приехать ко мне в деревню на Новый год. Вот и будет ему гостинец.

И вдруг на воле предательски оттепело, закапало с крыши. Осень не собиралась уступить свой черед зиме. А нам-то куда мясо девать? Пришлось срочно варить в русской печи и закатывать в банки.

4. ЗИМА

1

Ещё по осени думали, что наш гончак “отбросит коньки”.

Барон охотно ел картошку, капусту, яблоки, помидоры, свеклу, в общем, стал вегетарианцем, и этой терпеливостью, непривередливостью, неприхотливостью к еде невольно расповадил. Нас даже веселило, как гончак подхватывает вьющуюся с ножа картофельную кожуру. Решили: дотерпит без мяса, пока кабанчика заколем, а там пёс наш будет с “костомахами”. Ну и сами жили без убоины, деньгами совсем приоскудели.

Однажды обедаем, а кобелишко, по обыкновению, встал передними лапами на скамью, дышит мне в затылок, теснит в спину, заглядывает в наши тарелки, чем мы таким горяченьким, таким запашистым пробавляемся, аж в голове вскруживается. А на столе-то постенькое, грибное, одним словом, лешева еда. Морда у гончака-лосятника лошадиная, челюсти крокодилы, любую кость перекусят. Надоело мне, как Барон тыкается носом в плечо, не даёт ложку до рта донести.

“Не надоедай, остынет, тогда дам. Никуда твое от тебя не уйдет, – недовольно бурчу я, оглядываюсь, чтобы отпихнуть локтем гончака, и вдруг вижу

вместо глаза сплошное бельмо. – Дуся, – с испуга шепчу жене, – Барон-то наш ослеп... Пропала собака... Куда гончак без глаза, расшибется о первое дерево”.

“Да ну тебя, не туда смотришь...”

“Да куда еще смотреть-то?..”

Вот так мы ошарашенно уставились на кобеля, а он не понимает нашего испуга, весело виляет хвостом. Поел грибочки, побегал по двору, обляял в загоне кабанка, пытаясь сквозь березовые прясла прикусить его за мясистые ляжки. Ой, как вкусно, как сытно пахнет от свиненка-а! Мы слушаем собачий брёх и печалимся: “Ну надо же, оказия какая; вчера ещё был зряч, а нынче окривел. Боровок окосоротел, кобель окривел. Ну что за напасть навалилась на наш дом”. Кого клясть в такие минуты? Ну, конечно же, Гайдара. “Этот проклятый все наши денежки слопал. Хоть бы подавился, черт поганый, хоть бы луканька его прибрал”, – шерстим мы московского “жирняка”, все наше отчаяние и безнадежность перенося на реформатора из журнала “Коммунист”. Правда, этого черного кобеля уже никогда не отмоешь добела, но выкостить-то его до печенок, вывалить его в смоле и перьях, выставить его мысленно на позорище и посмешище в затерянной рязанской изобке – это какое же удовольствие. Хоть в этом какое-то облегчение душе.

А наш-то бедный псишко чего учудил, а?! Но надежды не теряем, приглядываем за гончаком; вдруг привиделось нам, вдруг свет упал не с того боку, иль слезой заилило, иль на сучок напоролся глазом. Но тогда была бы кровца... Свят, свят, только не это... Да мало ли что случается с гончей. Как и с нашим братом охотником. Вдруг за ночь отоспался, проморгался, родненький, – и зрение встало на место. Да нет, куда там... К утру даже очертания зрачка стерлись.

Пошел я плакаться и стенать к Ваську: один ум хорошо, а два лучше. Друг подскажет? Он с охотниками знает (и не только за рюмкой), егерям друг и товарищ, давно собак водит, у него лесовое чутье, он в бегах за зверем иссох и заморщил, как кирзовое голенище.

Васёк одиноко сутулился за рюмкой и бормотал в пространство:

“Ельцин – черт, а Жирик – человек эпохи. Жирик – молодец, это Ленин сегодня. Он ещё покажет вам кузькину мать”.

“Вася, – с ходу перебиваю его митинговую речь, – у меня кобель окривел”.

Взгляд у мужика едва проясняется, вернее, появляется дальний про-сверк мысли.

“Ну и окривел, дак что?.. Ерунда всё, Владимирович... Лучше садись, и поговорим за жизнь. Хотя ты человек умный, но и ты не знаешь того, чего я знаю. Они думают, так легко победить русского человека? Су-ки... Мы их выкурим из Кремля. Они ещё попрыгают у нас, как караси на сковородке. Они не знают, что такое русский человек... Вот Жирик, он знает. Обещал каждому мужику по бабе и бутылке водки. И даст, я ему верю. Он свое слово держит”.

“Васёк, а откуда он возьмет столько баб?”

“Най-дёт! Сколько надо, столько и возьмёт! А иначе он му... Я знаю, чего говорю. У меня всё схвачено... А теперь говори, что случилось?”

“Да собака окривела...”

“Так-так-так, – Васёк ухмыльнулся, снял с белесых губ невидимую поросинку табака, оттопырив палец, культурно так пригубил из стакашка. – Окривела, говоришь? Владимирович, из-за чего переживать?! Собака – её и звать собака. Их вон под каждым забором табун, только свистни. Ладно, я тебя понимаю. Я помогу, только ты держись за меня... Русский народ погибает, а ты за собаку... Мне бы сейчас автомат, – Васёк заскрипел зубами. – Вовка, тащи автомат, я покажу им всем кузькину мать... “Приведите, приведите меня к нему! Я хочу видеть этого человека! – вскричал Васёк, уронил голову на стол и прощально прохрипел. – Сережка Есенин был молодец. Мне его так не хватает...”

“Не слушай ты дурака, – подала голос хозяйка, отдернула у лежанки за-веску, свесила голову. – Назююкался опять, как свинтус, вот и мелет, нем-тыря, пустое. Ступай, Володя, домой, а завтра с утра поезжай в Туму с моим огорем за костями”.

“Верно, бабка, понимаешь... У собаки авитаминоз. Иди, припасай мешки. – Васёк отодрал лицо от стола, будто и не спал, снова потянулся к

рюмке. — А ты говоришь, я пьяница... Нет, я не пьяница, у меня ума палата".
"Был у тебя ум, да весь пропит, огорай".

Они по семейной привычке принялись зубатиться, а я поплелся домой.

Утром мы поехали в Туму за костями. Вокруг колбасного цеха был забор, у будки торчал сторож. Он как-то безразлично посмотрел на приезжих, сделал вид, что не замечает. Это был прощальный отголосок советского времени: если люди куда-то попадают помимо ворот, значит, это им позарез необходимо. Мы пролезли в пролом. По горам оскобленных костей, хребтин, лыток и ребер с крохотными лафточками мяса, жирка и сухожилий лениво бродило воронье, наискивало поживу. Завидев нас, оно лениво снялось тучею, сердито заграяло. Мы затарили мешки, нагрузили машину и уехали. Честно говоря, мне не верилось, что от этих любовно ободранных костомых будет моей собаке какая-то польза. Но утопающий хватается и за соломинку...

Вернувшись, я бросил кобелю скотскую лытку, и он выточил её. Потом наварил ему бульону. Через три дня пес прозрел. Я возблагодарил Господа со слезами на глазах. А ночью выпал снег.

* * *

... По сентябрьскому чернотропу, когда палого листа перины, зайца взять трудненько, даже вязкая выжловка-верохоучуйка непрочно держит след, да если перепадет морозящий дождишко, то долго рыщет под ёлками, путается вдоль болотных сырей и в кочкарнике, куда норовит заскочить косою, чтоб отлежаться в травяной ветоши, устлавшей землю тяжелыми непролазными пластами... Но и по первой пороше тоже не прибыльно шататься; зверь еще не выкунел полностью. А выдают черновины на ушах и хвосте, и потому залегает крепко, таится до последнего под еловым подолом, в зарослях можжевельника или в путанице ивняка, пока гончак не подступит вплотную, и тут сердце зайчиное не выдерживает близкой опасности, и беляк выскакивает в шаг от собачьей пасти и задает такого стрекача напрямки через лом-бурелом, заломив уши к хребтинке, пока вовсе не думая о скидке, только бы оторваться от выжлеца... Ой как взрыдывает тогда гончак, идя по пятам, будто его непросто обидели, как пронзительно заливаётся он на весь лес с такой тоскою, словно бы жизнь-то у него отнимают неведомые злыдни, а не у зайца, и отчаянное сердце выжлеца от близкого зверного духа так всполошится, что готово тут же выскочить из груди и, опередив хозяина на полшага, закатиться куда-нибудь под кустышек и там успокоённо затихнуть.

Конечно, эти охоты интересны каждая по-своему, но требуют азартной природы, терпения, сноровки и доброго здоровья. Кто-то ехидно возразит: подумаешь, какой-то зайчишко, что с него толку, ни кожи, ни рожи, собаке не хватит на зубок... Кабана завалить иль лося, а ещё лучше медведя — дело другое: "визьмешь в руку — маешь вещь", как выражаются в стране Хохляндии... Э-э, братцы мои, не скажите! Мал косою, да хитёр, крепок на ногу, порою смел до бесстрашия, коли с первого заряда не взял, умахнёт, баламут, километра за три и более, и пока ждётся его с круга назад в родные палестины, все жданки съешь. А он возьми и заляг где-то на веретье в можжевельниковом кусту иль о край речки в пониклых травяных клочках — вот и терзайся на семи ветрах в драной фуфайчонке и с промокшими ногами, напрягай слух до звона в ушах, крутись, как флюгер, задирая ухо шапчонки, чтобы поймать задушенный расстоянием пёсий лай... Конечно, некоторые из жирных московских гусей, кому повезло припасть к молочной кремлёвской сиське, хвалятся охотою на львов в африканских саваннах, но чтобы туда угодить, надо денег мешок. Там больше не охота как природное душевное чувство, но возможность покрасоваться перед людьми, гордыню свою потешить, барином себя ощутить, которому нынче всё дозволено, де, вот я какой записной герой, а после чучелки вывесить по стенам для похвалебщины... Но каждому своё: кому сало с чесноком, кому яшния со шкварками, а кому и тяпаные гретые грибочки с постным маслом.

Но у русского природного человека именно охота на зайца вызывает те спокойные, радостные, разливистые чувства, когда вся душа беззаветно отдаётся лесовой потехе, словно дружеской попойке. Сколько зайцев было взято мною с ружья — не пересчитать сразу, но, пожалуй, каждая удача неза-

бытно тлеет где-то в закрайках памяти под гнётом множества других событий. . .

Однажды зайца-русака на осенней пашенке я принял за оленя, так чудно нарисовался он вдруг в утреннем сизоватом туманце, неожиданно вылетев от скотных дворов под наши ружья. Наверное, в сенных одоньях кормился. . . Выскочил на гребень и в оторопи застыл.

“Откуда тут олень-то?” – вскрикнул я, растерявшись. А спутник мой, стоявший за спиною, не промедля, влупил из двустволки дуплетом, и заряды просвистели возле моей головы.

“Ты же меня чуть не убил! – вскричал я, запоздало испугавшись. – Гад, ты же спокойно мог меня убить! . . .”

“Но не убил же, – шало ухмыльнулся Мишка. – Кабы убил, тогда другое дело”. (Тот самый мужик, что перевозил нас нынешней весною с женою через реку. Но тогда на охоте, лет десять назад, он был ясноглазый, улыбочивый, с нежным девичьим румянцем на щеках и волною русых волос. Братцы мои, ну как на такого сердиться?)

“Мне померещилось, что это пятнистый олень. . . Рожки, поджарый, на высоких ногах. Вот чудо-то. Из оврага выскочил и на меня”, – бормотал я, пытаюсь выковырнуть из уха шумовую пробку.

“Ага, а мне показалось, что заяц, – захохотал Мишка. – Скажи, и что мне было делать? Тут размышлять некогда. . .”

Русак тем временем деловито чесал по пахоте к полевой меже, занырявая в борозды.

Такую обманку играет с тобою охота.

* * *

. . . Но когда февраль заподувает и снегу тебе по рассохи, долго по лесу не побродишь: скоро темнеет, собака проседает по брюхо, часто ложится, едва плетется следом, высунув язык, живот у нее подвело, выпирают ребра. Эх, кабы зайчишку ухватить за ожерелье, хозяин тут же бы одарил лапкою, дал слизнуть кровцы, а еще лучше, если бы удалось втайне выесть горячую с парным запахом брюшину, ой, тогда бы и дорога к дому не казалась долгой, – так, наверное, размышляет мой долговязый псишко, коряво выволакивая из целины гудящие лапы с ледяной накипью меж когтей, но меж тем не забывая заглянуть под каждый подол огрузнувшей ели. Вернее, это я сам додумываю за кобелька, чтобы пустейшими мыслями занять голову, иначе дорога покажется непосильной. . . А сам-то ты, приятель, видом разве лучше гончака? Поглядел бы на себя в зеркало – измаянный, выгоревший телом, как пропадина, обросший сосульками, посиневший с лица, фуфайка колом, бороды помелом. Побродивши по болотам и заполькам, порою и добычи не промыслив (оттого особенно грустный), плетешься обратно домой неприкаянный, считаючи каждый шаг, едва протягивая лыжонки по зыбучей снежной трясине, и ружье наливается пудовой тяжестью, кренит на сторону, и дорога кажется бесконечной; каждая жилка в тебе непрерывно трепещет, скулит, дескать, и на кой ляд сдалась тебе эта охота, и какой сладости ты отыскал в этой забаве, и что за сила выпихивает из нагретой избы в утреннюю памороку, прокаленную морозом, когда добрый хозяин и собаку свою не выпустит со двора, а ты вот плетешься неведом куда по своей прихоти прожигать золотые деньки. Ладно хоть ночевать будешь дома, а не под лесной корчужкой у костерка.

И вот едва притянешься в избу, переставишь через порог гудящие ноги, молящие о пощаде, стащишь, зажав в притворе двери, чугунные валенки, с великим трудом сдерешь гремящие, как жестяные, с наростами льда, прикипевшие к голеним штаны, закинешь на печь шапенку и фуфайчонку, и вот уже сил почти нет подняться с порога, чтобы перетащиться на скамью. Сидишь под дверью, а тебя покачивает, как на волне, и гуд идет по всему телу. И от избыного тепла какая-то знобящая истома обволакивает от макушки до пят, а потом все лицо кидает в жар, запекает его невидимым пламенем до багреца, глаза соловеют, наливаются свинцом, косятся на жаркую лежанку. . . И только стопка винца домашней выгонки перед горячими щецами с белыми грибами извлекают тебя из невидимых вязок, освобождают тело от плена. Господи, как хорошо, как благостно становится на душе и мило вокруг, как все отпоте-

вает внутри, и жизнь вдруг становится доброй и удавшейся. Кажется, всего и дела, что ноги в лесу намял, а сколько случилось на сердце перемен, и такими нежными красками окрашивается деревенский мир.

А стеколки уже в синей ледяной броне, изба покрякивает от стужи, скрипят половицы, шуршит в запечке хозяйнушко-домовушко, жена сидит напротив, подоткнув ладонью щеку, и жалостливо, укорливо смотрит, словно мать на беспутного сына, не понимая, наверное, как и все женщины мира, этой нужды в лесовых броднях.

“Ну, зачем ты себя мучаешь? Ещё прежние зайцы не съедены. И шкуры не выделаны”, – в который раз говорит она, сопровождая свои слова тонкой хитрой усмешкой; ведь по бабьему-то уму мужик шляется по лесу совсем зряшно, от безделья, чтобы только сжечь время да сбежать из дому, отвернуться от хозяйства, испить сладостной воли, когда никто у тебя не стоит за плечами, не дозорит каждый шаг, не понукает привычно, сделай, де, то да ступай туда. Мужик по природе своей шатун, побродяжка, перекати-поле, его все время тянет на сторону, и если запрягать, постоянно держать человека в тугой узде, дергать за вожжи, не давать послабки, то, не ровен час, этот жеребец может и взаправду взыграть, зауросить, закусить удила и скинуться на сторону. А там, братцы мои, ой-ой! – ищи ветра в поле...

И только гончак Барон, уже изгрызший свою сахарную косточку и вылакавший миску щец, теперь сладко почивая на диване, может понять охотничью блажную душу, и что такое “охота пуще неволи”, когда ты кидаешься опрометью в лес за удачею, за фартом, за трепетным лисьим хвостом, и пока вот тропишь по следу, пока слышишь звонкий гонный лай, грудь твою захлестывает какая-то сладкая волна, словно бы ты в минуте от редкого счастья, которое тебе уготовано, оно почти рядом, блазнит за ближним кустом, и надо ухватить его. Вот этими минутами сердечного подъема, ожиданием близкого чуда и украшивается серенькая, нудливая деревенская жизнь...

Ну ладно, сегодня не повезло, не случилось фарта, то назавтра-то обязательно выпадет он – так невольно размышляет охотник, перед сном заново сряжаясь в лес: протирает ружье, набивает патроны, просушивает на печи шабаленки и катанки, выминает холщовые портянки, чтобы не натирали в походе. Вот и выжлец, растянув долгие ноги на диване, воркотит во сне, жалобно стонет, притявливает, и по шелковистой рыжей шерсти его от ушей до пят переливается мелкая дрожь. Барон не может никак успокоиться, переживает заново охоту и, надрывая сердчишко, держит след, гонит хитровановну-патрикеевну, которая никак не хочет нориться...

* * *

Год уходил мрачно, подавленно. Россия окончательно раскололась напопы, и бессловесная деревня, с которой Москва никогда не советовалась, как жить далее, застыла в недоумении, враскоряку, затерялась, забытая, в бесконечных глухих пространствах, по самые крыши засыпанная снегами, и только дымы над крышами, сажные кругованы возле труб да черные тропы, натопанные меж изб, ещё напоминали, что жив курилка, колготится, христовенький, тащит на своем горбу нескончаемые заботы. Теперь и в Тмутаракань, на край света, не надо попадать на перекладных; лишь выбреди за городскую заставу, – и вот она, посконная, земляная, таинственная, необъяснимая страна Муравия... Ни света, ни телефона, ни больницы, ни дороги, ни школы, ни магазина... Хлеб привозят раз в неделю, больше похожий на глину, кукуруза с горохом и немножко подмешано мучицы, а коли снегу внавал, то до машины попадай с рюкзаком по бездорожице за четыре километра до тракта...

И только вот эти лешие охоты, погруженность в природу хоть на какое-то время скрашивали наше грустное прозябанье, давали ему малую толику праздника, продлевали быванье на земле-матери, связывали прочной нитью жизнь недавнюю, когда было всё так надежно, и нынешнюю, когда все так зыбко, будто оказались мы на кочке посреди болотных провалищ: шаг вправо, шаг влево – и с головою в бездну. Но всё думалось втайне со смутной притаенной надеждой: вот подурчатся там, в городах, господа хорошие, потешат хвастливое сердце и расчетливый себялюбивый ум, переболеют денеж-

ной хворью, перетрут в себе скупость да жадность и, внезапно опамятавшись, вспомнят Бога, затоскуют душою и наконец-то обратятся лицом к приунывшей деревне, откуда так торопливо сбежали, и поспешат с помощью...

2

На Новый год ждали гостей, “столичных штучек” Проханова с Бондаренко. Но как-то и не верилось, что придут они к деревенским сидельцам в их скрытню, решатся сломать длинную дорогу на край света, от Егорьевска обледенелую, уже скверно чищенную корытом, с раскатами и смерзшимися котыками, а от Мамасевской развилки и вовсе дикую, лесовую, с заносами и просовами, едва пробитую в снегу трактором-колесником только ради праздника.

С такой зыбкой надеждой “на авось” и отправились с женой пеши на роستانь за пять километров встречать друзей, чтобы не заблудились, зря не шастали по ближним деревенькам, пытаюсь угодить на наш забытый Богом остров в Мещерском краю. Конечно, с грехом пополам до места добрались бы, “язык до Киева доведет”, но как приятно обняться на распутье да расчеломкаться; сам вид близкого человека, что решился встретиться, в фуфайчонке и фабричных валенках с долгими твердыми голяшками, со щеками, надраенными морозцем, с закуржавленной бородашкой, в вязаном монашьем куколе, — уже праздник душе усталым путникам.

Ноги дорогу знают. Дошли до тракта споро, хрусткий снег сам подбивал в пятки, а воздух, слегка примороженный, сладкий, навроде ключевой водицы. Развели костерок на опушке, стали ждать. “А ждать да родить — нелзя годить”. Когда будут — кто его знает, вилами на воде писано. Томимся... Спешат машины-то, да всё мимо, на Малахово и дальше. Вдруг с тракта сворачивает красный “Запорожец”. Вылезает сосед Толя Фонин, к матери на праздник летит из Москвы; где ещё дом-от, за лесом, до него попасть надо, но душа горит, а тут писатель у родной развилки, ну как, братцы, не выпить с дорогим соседом?

“Давай ломанем по стопарику”, — предлагает. Я покосился на жену, а она вдруг: “Ломанем, Толя”. Мужик достал с груди плоскую стеклянку с чем-то темным, три охотничьих складных стаканчика, развернул бутерброды с колбаской — московские гостинцы. Толя сухопарый, “гончей породы”, какой-то присушенный постоянным внутренним жаром. На месте не устоит ни секунды, все время перебирает ногами, вертит головою, мечет взгляды по сторонам, выскивает что-то. Одно время у нас не было собаки, и Анатолий ходил с нами на охоту заместо выжлеца и ловко так, безошибочно тропил заячий след до самой лёжки, распутывая все узелки и петельки хитроумного звериного кружева...

Прямо на капоте раскинули стол. “Коньяк?” — спрашиваю, покрутив в руках бутылочку. Толя весело поглядывает, на губах под редкими рыжеватыми усишками меленькая ухмылка: “Бери выше, Владимирович. Плохого не пьем... Спирт “Рояль”... Не наш, но тоже забирает крепко. А вкус какой, и ёлкой не пахнет. Можно без закусона”. Это была со стороны Толи высшая похвала напитку; как и младший братец Вася, он заедать не любил, приговаривая: “Пить закусывая — только сам процесс портить”.

Братцы-ы мои милые, только вслушайтесь, название-то какое музыкальное, можно сказать, нежное, петь можно: “Ро-яль”. Протянешь на выдохе и глаза зажмуришь от чудесной картины, что встанет пред очию... Живя долгое время на выселках, в деревне, мы, темные, совсем отстали от московской жизни. Оказывается, демократы, нахватав кредитов у Америки, навезли в Россию эшелоны заплесневелой колбаски, всякого чудного питья (правда, позднее обнаружилось, что “клопомора” и стеклоочистителя), снадобий от перхоти и италийских погребальных гамаш с картонными подошвами. В общем, весь смертный набор: выпил, закусил, натянул италийские гамашы — и в домовинку... Подняли мы по стакашку за встречу, покатился чужедальний напиток в брюшишко мягко, душевно. Явно не наша водочка, которой, бывало, ежели хряпнешь стопарик, то невольно крякнешь-хукнешь и потрешь нос свой об рукав пиджака, закусывая шерстяным пыльным духом; как ни ждешь с нею встречи, но каждый раз так внезапно ожжет под горлом, ино слеза наворачнется, прищипнет глаз. Захотелось ещё сыграть на “Рояли” в три руки...

По второму приняли на грудь — и сразу смеяться захотелось. Толя поболтал в бутылке (не домой же тащить одонки), посмотрел сквозь стекло на белый свет и разлил остальное, а посудинку забросил в кусты. Уже спеша домой, вскочил в “Запорожец”, дал газу и в грохоте, клубках едкого дыма исчез, как наснился. Но у меня-то остались после Толиного угощеньица кружение в голове, в глазах — пелена, а в животе — хлябь.

И тут черная “Волга” свернула с большака и остановилась. Ура-а, наши едут! Первой неторопливо вылезла из недр машины темноволосая, вальяжная, пышная дама в просторной шубе иль салопе из курчи, с улыбочивыми припухлыми губами и с каким-то ласковым материнским взглядом. Ба-а, да это же Люся, жена Проханова, румянец во всю щеку, влажные карие глаза светились искренней радостью, словно и не осталась позади долгая дорога. В этом салопе с блестками снега на воротнике, на волосах и атласном капоре, с сияющими глубокими глазами она так походила сейчас на новогоднюю ёлку. Хоть хороводы вокруг води... Я по-щенячьи ткнул носом в Люсину холодную упругую щеку и засмеялся своему смешному сравнению.

“Ну как, ребята, вы тут поживаете? Далеко забрались... Думала, уж никогда не доехать, — с ласковым удивлением говорила Люся, слегка грассируя. — Саша, ты где? Нет, Саша, ты только посмотри, кто нас встречает? Это же Личутины... Володя с Дусей. Какие вы молодые, какие красивые, ну насколько не изменились. Наверное, деревенский воздух так действует... Господи, как тут у вас хорошо, — томно протянула, оглядывая снежные пелены с голубыми тенями от деревьев, припудренные березы с пониклыми косицами, синь дальних ельников. — А воздух какой, какой воздух! Только дыши, и больше ничего, кажется, не надо”. Тут и Проханов покинул машину, темным лицом и упругим крылом длинных волос по плечи напоминая карбонария; не хватало лишь широкополой шляпы и пистоля за алым шелковым поясом.

“А мы уже выпили и закусили, — не удержался, похвалился я. — Чувствуешь сладкий запах “Рояля”? Терпеливо, натрезвую ждали, а вас всё нет, а тут сосед летит... Ну и... Сам знаешь, как это бывает. Короче, сообразили на троих. И вот нам хорошо”. Язык меня странно не слушался, запинался о зубы, неожиданно заполнив весь рот. Меня распирал смех, и пробитая трактором колея, похожая на танковые траки, тоже колыхалась, становилась то алой, то крапивно-зеленой. Значит, и глазами моими завладел чертик из винного шкалика.

“Вижу, что тебе хорошо и Дусе хорошо. А значит, и нам хорошо, раз вы такие счастливые. Вижу, как тени сочных шашлыков из кабанчика уплывают в небеса, где сейчас Яшина душа, и там вашему поросенку тоже хорошо. Ему там вкусная и сытная трапеза... Не ваши грибы... У него там новая работа: пасёт овец, оброс собачьей шерстью... Угольками-то как вкусно попахивает от костерка, соленным салъцем с чесночком, лучком и помидоркой. Слышу, как свиные хрящики прощально попискивают на твоих зубах... Только картину писать: старосветские помещики на пленэре... Ну и как кабанчик получился? Сразу всего в чугуне сварили и съели за один присест, иль и нам остался кусочек? — спросил Проханов. — Ну, крохотный, такой заваливающий кусочек червеного салъца с брюшины”.

“Саша, ты зря смеешься...”

“Не слушай ты его, Володя, — голос у Люси грудной, бархатный, утешный, как у матери. — У Саши всё шуточки. Проханов, Личутины переживают, а у тебя шуточки...”

“Люся, нам было так жалко нашего поросеночка, ну прямо до слез. Ты не поверишь, как нам было жалко его; ведь член семьи, он все понимал, только ничего сказать не мог, у него глаза были человечьи, как взглянет — всего понимает, озноб до сердца. И вот закололи... Да-да, пришел Сережа-сосед, хряпнул стакан самогонки — и заколол... Осмолил паяльной лампой. Яшка лежал на простынке такой голенький, ах ты, Боже мой... Дуся плакала. Но печенка под самогоночку была хороша”, — я снова глупо засмеялся, но мне вдруг показалось, что смеется кто-то другой, со стороны.

“Ребята, вы поторопились... У меня мысль была: сделать цирковой номер, — шутил Проханов. — О вашем кабанчике уже вся Москва знает. Ходил бы ваш Яшка на задних лапах с подносом, рушник через плечо, шерсть завитая в золотой каракуль, а на подносе бутылка водки и рюмка, и кабанчик бы всех рюмкой холодной водочки потчевал, ты бы, Володя, подливал, а на под-

нос жирные московские робята-боровята бросали бы “сотельные”, и вы бы хорошо кормились и ни в чем не нуждались. А что? Отличный проект, современный бизнес. Если литература не кормит”.

“Саша, ну перестань говорить ерунду... Давай, поехали”.

И поехали в нашу деревеньку. Проханов за рулем, а мы сзади, толкачами. Только машина вырвется из плена, я упаду в снег – и давай хохотать, вот как будто в меня бес какой вселился. И вставать неохота. Лежу на спине, раскинув крестом руки, гляжу в просторное, голубое, в измороси небо, и не то я всплываю вверх, как морская рыба с глубинного дна, то ли створка раковины опускается на меня, чтобы закрыть меня в хрустальной домовинке. Женщины давай вынимать меня из снега, а я кочевряжусь, вываливаюсь из их рук, тяжело плюхаюсь в хладные перины, будто во мне поселилась свинцовая гнетя, и беспечно, глупо чему-то смеюсь.

“С ума сошел, да? Не пойдешь – оставим, валяйся тут”, – грозитя жена.

“И останусь, навсегда останусь. Знали бы вы, как мне хорошо... Вот спхватитесь, вернетесь, а я уже стану как мороженая наважка...”

Ну, с грехом пополам дотащились до Часлова, попали в домашнее тепло, и вот с этой минуты я уже мало чего помню. Вот жена достала из русской печи щи в чугушке, открыла крышку, и по избе поплыл запах уваренного мясца. Все деловито засуетились, гости стали потрошить походные котомки, добывать московский гостинчик, забренчала посуда, зазвенели склянки. Но этот звук до меня доходил отстраненно, откуда-то издалека, будто на деревенской росстани мерно ударяли в рельсу, сзывали на пожар. Голова моя вдруг воспламенилась, взялась жаром, но сам я страшно замерз, и меня стала бить крупная дрожь. Печь-столбушка была изрядно накалена, казалось бы, прикоснуться нельзя, но я, вплотную прильнув грудью к горячим кирпичам, не мог освободиться от стужи, сковавшей все тело от макушки до пят. Зубы мои лязгали, отбивали дробь. Тогда на меня нагроулили шуб и одеял, принялись растирать руки и ноги, давать клюквенного морсу, и озноб потиху стал иставивать, лед – отходить от сердца, а в пылающей голове появилась первая мысль, что я, слава Богу, вроде бы жив. Неясные тени, проступавшие сквозь туманец, обросли плотью, прорисовались в глазах родные лица. Мне сунули под мышку термометр, и набежало всего лишь тридцать пять и две...

“Не хватало мне очокуриться в канун Нового года. Вот был бы праздник... – бормотал я, едва двигая деревянным непослушным языком. – А ведь, кажется, уж там и был. Прямо какое-то наваждение”.

Все, до той минуты застывшие в ожидании, вдруг оживились, радостно заговорили, голоса переливались, как струйки святого родника. Свет в моих зачумленных глазах приочирился, пелена спала, и я тут ожил совсем.

“Слава Богу, обошлось... А мы уж напугались... Ты, Володя, отравился, это точно. Тебя так трясло – удержать не могли, – гулькала грудным бархатным голосом Люся, не сводя с меня жалостливого взгляда, поправляла на мне свою постоянно сползающую каракулевую шубу, которой бы хватило обернуться дважды. – А чем? Надо обязательно выяснить...”

“Ты, Володя, так больше не шути... Отравиться ты ничем не мог”, – сказала жена...

“Хороши шуточки... Может, “Рояль” сыграл траурный марш? Но ведь и ты пила, а с тебя как с гусыни вода”, – предположил я, перебирая в памяти дневные события.

“Я только пригубила”, – поправила меня Дуся.

“И я соточку принял, не больше...”

Стали гадать, сошлись на том, что черт ножку подставил, чтобы я не баювал с вином, крепко не налегал на бутылку, а то стал слишком падок до хмельного, и потому весь мой “органон”, донельзя отравленный, дошел до крайней черты. Но и тут не пришли к одному мнению. “Пей в меру, сказал Неру”. Но: “Пей досыта, сказал Хрущев Никита”.

“Надо сосуды чистить от шлаков”, – подвела итог Люся, и тут все свободно вздохнули, обратили взгляд на стол, где дожидался горшок со щами на свиных ребрышках.

“Да не... Он много не пьет, – решительно вступилась за меня жена. – Володя свою норму знает. Это западная дрянь виновата... Навезут всякой отравы, а мы – подышайте, как скоты”, – жена загорячилась, голос её накалился.

“Верно... Я много не пью, разве что с устатка, когда притомлюсь, иль по-

сле охоты и на рыбалке, после баньки, в праздники церковные и советские, в дни рождения, с неожиданными гостями и в гостях, на привальное и отвальное, ну и просто так, порою, когда дурное настроение иль худая погода, иль когда добрые вести и неожиданный прибыток, иногда с деревенскими за кумпанию... Но, в общем-то, братцы, совсем не пью”, – я свел случившееся в шутку. Озноб меня оставил, но какие-то отголоски минувшей беды кочевали по телу от ступней к сердцу едва уловимыми волнами, будто по полу гулял тонкий сквозячок и подтачивал меня споднизу.

“Братцы мои... снова живем! – решительно махнул я рукою. – Клином вышибают...”

Я выпил стакашек “Столичной”, прислушался – хорошо покатила, сердешная, нигде не встала колом, не запрудила. Тут все обрадовались, потянулись ко мне чокаться рюмками. Слава Богу, обошлось... Похлебали горяченьких щец, женщины попробовали под “Каберне” всяких московских заедок. Обласканный Прохановым кобель наконец-то отстал от гостя, вихлясто заскитался по комнатам, стуча по полу когтями, потом рухнул под порог и растянулся, как падаль. Все незаметно осоловели, огрузли на лавке, тьма обступила нашу изобку, и она, снявшись с якоря, тихо поплыла по таинственному небесному океану меж неизвестных материков. Пробовали вспомнить спесивую Москву, беспалого кремлевского Дуролома, но Проханов сразу отрезал:

“Про политику – ни слова. Я устал... Дайте отдохнуть... В Москве, куда ни придешь, обязательно разговоры о политике подают на десерт. Вместе с рюмкой коньяку и кофе... А сами ни бельмеса не смыслят”. “Саша, ну почто ты так грубо нам затыкаешь рот? – попыталась возразить Люся, но сказано это было так мягко, так виновато, с такой нерешительной улыбкой и поднятыми вверх руками. Стало сразу ясно, что восстания не получится. – Может, нам хочется поговорить с Дусей о политике, а ты нам запрещаешь”. “Ха-ха... тебе только дай воли – не остановить... Нынче каждый мнит себя стратегом...”

На этом перепалка потухла, сил не было спорить, что-то доказывать. Вылезли из-за стола, стали украшать ёлку, потом расправлять постели на ночевую. Бродили по избе, словно опоенные тараканы. На улице оттепело, рамы очистились от морозного узорочья, свет из кухни падал на улицу, и янтарные по гребню сугробы под окнами вспухли, как дрожжевое ноздрястое тесто, приникли к самым стеклам.

“Бай-бай, бай-бай, ты, собачка, не лай...” – запело в небесах. Значит, пора на боковую.

Проханову досталась хлипкая раскладушка, и он едва уместился на ней. После длинного дня и всевозможных приключений скоро забылись во сне, но не досмотрели и первого акта, как в избе сгрохотало, взлаяла собака. Включили свет. На полу, в развалинах раскладушки, меж алюминиевой арматуры и обрывков парусины, запутавшись в простынях и окутках, лежит Проханов, а верхом на его груди сидит наш выжлец и ласково облизывает лицо нового друга. Смотреть на эту сценку было презабавно, потому от души посмеялись. Устроили пострадавшего на русской печи, на горячих кирпичках. Потушили свет, и глухая ночь проглотила нашу избу, как кит Иону.

...А с утра пошел снег, поначалу редкими хлопьями, но вскоре встал меж небом и землею плотной стеною – не проткнуться взглядом. Затопили печь, и так радостно было смотреть в устье, где по березовым полешкам бойко расплясалось багровое пламя, с ровным потягом, с потрескиванием и пощелкиванием, с подвывом утягиваясь в трубу. За ночь в избе выстыло, и с первым жаром, струящимся из чела печи, бревенчатые стены скоро отпотели, оживели, и как бы очнулся сам домашний дух, и к горьковатому дымку подмешался запах новогодней ёлки, таинственно выглядывающей из полутемной комнаты, выходявшего в кастрюле дрожжевого теста, подкисшей щуки, праздничной стряпни и обрядни, уличного легкого морозца, припархивающего в двери при частой бабьей бродне туда-сюда, и рассыпчатого сухого снега, занесенного на валенках. И таким родным показался вдруг неожиданный снегопад за окнами, так согласно прильнул к сердцу, отстраняя от нашей избы мирскую блажь, гам и глум, выметая из груди утренний душевный раздрызг. В избе ещё не развиднелось вполне, в дальних углах кухни жили сумерки, в запечье, расставив на приступке походные иконки, монотонным шепотком молилась жена Проханова, била поклоны, и цветастая завеска шевелилась и

вздрагивала. Жена ловко вывалила на столешню тесто и, закатав рукава кофтенки, принялась усердно вымешивать, выминать его кулачками, тять, шлепать, колотить и подкидывать, выделять из мягкой податливой теплой плоти всякие прихотливые загогулины, добываясь пирожной упругости. Шлеп-шлеп... Белая косынка сбилась к затылку, выпала на лоб прядка соломенных волос, легкая роса высыпала на виски. Вот так, наверное, Господь вылепливал Адама. В этой временной бездельности, выпавшей нам, мужикам, и утренней вязкой полудремоте, когда глаза не могут очиститься от сна, хотелось бесконечно, зачарованно смотреть на ярый, гульливый огонь в печи, азартно постреливающий на шесток алыми угольками, на хозяйку, раскачивающую живое тесто, на вздрагивающее от напряжения её лицо с бисером пота на носу, на отблески пламени, словно бы стекающие в щели остывшего за ночь ледяного пола, на шевеленье занавески, за которой Люся Проханова молила для нас милости у Бога. Это редкое чувство полного погружения в себя, когда любое сказанное слово кажется лишним, было похоже на наваждение, на хмельной опой, и выплывать из него не возникало никакого желания. Мы невольно разбрелись по своим мысленным закутам, обособились, заняты собою, но от этого странного одиночества каждому было отчего-то хорошо...

Девяносто третий год отплывал за горизонт, сурово скинув нас на бездорожице со множеством загадок, утрат, потерь и расхристанных чувств – печали, тоски, какой-то безрадостной толкотни на земле-матери, сердечной боли, душевной неловкости и неустроенности; жизнь неожиданно принимала трагический оборот, к которому, увы, нельзя загодя подготовиться, но судьба невольно подталкивала в спину, принуждала впрягаться в воз, выминать заскорузлую тягловую лямку, выправлять постромки, приноравливаться к неудобии и непролази, когда каждый ступистый шаг попадал как бы по кромке пропасти, и, чтобы не свалиться с кручи, приходилось неловко осматриваться, до боли в шее заламывая голову... Страна разом поделилась на “наших” и “не наших”, и если одни дружно, мстительно вставляли палки в колеса, то другие нехотя подпрягались в оглобли... Заставляли с усмешкой и издевкой жить в России по-новому, но почти все хотели жить по-старому. Словно бы приехали в гости через реку, отпировали, пора бы обратно домой попадать, а злыдни окаянные не дают, переправы все обрушили и выставили по берегу осеки и караулы...

Вдруг в заулке громко хлопнула калитка, загнулись под окнами полузанесенные кусты сирени, вздернулась, затрепетала ломкими ветвями старая ветла через дорогу, полетели, кувыряясь, сучья и отмерший прах, жалобно звенькнули от порыва ветра оконные стекла, снег вмиг закрутился волчком, завихрил и тут же встал от земли до неба упругим косым парусом. И понеслось из бездны с натягом, с уханьем и посвистом. Вот это метель. Знать, бесы “ведьму замуж отдают”...

Мы выплыли из памороки, Проханов вдруг подумал вслух:

“Где-то сейчас наши Бондаренко с Ларисой...”

Сказано было мягко, любовно, жалостно.

Молчание рухнуло, все заговорили вразнобой, как по команде, стали гадать: “Дороги-то занесет... Не попасть будет”. – “Застрянут, намучаются...” – “Не застрянут”, – уверенно сказал Проханов. “Может, и не приедут... – крепко засомневался я, скосившись в окно на непроглядь. – Как повалило. Распльсались бесы-то... Не видно ни зги... Глянет с балкона Бондаренко и скажет: а на черта мне сдалась такая дорога вместе с Личуткой и Проханчиком? Дома в тепле так хорошо, на диванчике полёживай да мандаринчики под сухое вино поёдывай. С одного боку Лариса пригревает, с другого – бутылочка похмеляет...” – “Завел, Личутин, панихиду... Приедут, никуда не денутся, – возразил Проханов. – Вот увидишь. Вы ещё плохо знаете Бондаренку”.

Дуся принялась закатывать рыбу в кулебяки, смазывать противни; она торопилась, чтобы не упустить жар, и часто подсказывала к печи, чтобы посмотреть на огонь. Я притащил из сеней зайца, стал разделявать, настрогал в чугунок Яшкиного сала, заложил дичину кусками, начистил картошки, нарезал лука. Праздничное жаркое из зайчатины полагалось как бы по неписаному ритуалу; обязательное личутинское фирменное блюдо. Подлил водички, задвинул чугунок в печь: упревай, дикое лесовое мяшишко, томись под сковородою, набирай в себе соков, а для нас силушки и черевной радости.

А снег за окнами все шел с неослабевающим напором. Пока хозяйевали, пока стряпали, вдыхали хлебный дух печеного, время-то и бежало незаметно. Вот и румяные пироги выкатились на столешню, жена смазывала их маслом, каждый прихлопывая по жареной крышце и упругому исподу, словно бы здоровалась с печивом, и пирожный запах становился гуще, заполнял собою избу, выпархивал на улицу в снежную метель, разбавляя её пресно-кисловатый железистый привкус. Сковорода на чугуне заподскакивала, варево с шумом выплеснулось на раскаленный под, дух жарена-парена, вырвавшись из полена, защекотал ноздри, взволновал брюшину. Господи, да не слишком ли много чувства на одного человека? Со всех сторон дразнят, подпирают душистые волны, горячат плоть, возбуждают нутро, а куда же ей, милой душе нашей, деваться в эти сытенные минуты? Кто подскажет ей постоянного схорона?.. Да она, родненькая, в эти минуты тоже радуется вместе с человеком; душе нашей хорошо, и привольно, и сладко, когда плоть удовлетворена, ибо они, оба-два, живут неслиянно и нераздельно, хотя бы по смерти и разбегутся по своим дорогам. Ибо хлеб – это плоть Христова; хлеб всему голова, и ему в душе царское место...

Вот говорили в старину: “не едим хлеба горячева и гораздо мягкова, да пусть переночует, ибо от него многие стомаховы (животные) болезни приключаются”. Батюшки мои, да верно думали наши предки. Но как отказать себе в удовольствии укунить от пылающего, обжигающего нутро пирога, вынутого только что из русской печи, когда живой огонь ещё не померк, затаился в печиве, и кажется, что весь ароматный тестяной мякиш испронизан пламенем. И ещё неизвестно, кто более жаждет пирога – сердце или плоть, ибо тело, помня прежние хвори, зажимает в себе соблазн какое-то время, глядит на стряпню с боязнью и пропускает вперед страстное сердце.

... Вот и чаю с ягодниками да пирогами “капуственными” попили, удовлетворили душеньку, и отобедали в свой черед, и уж незаметно засмеркалось на воле, стеклышки посинели, а снег все валит и валит, как из преисподней, – не пригоршнями, но коробьями. Знать, преизлиха скопилось его в небесных палестинах. На улицу выходили, выбредали на деревенскую росстань (а уж с тропинки не сосупить – утонешь), высматривали Бондаренок сквозь колышущуюся мягкую завесу, облепливающую лицо, и с грустью рассуждали, что не прорваться ребятам в деревнюшку, хотя бы и очень пожелали, и будем встречать Новый год без них. Коли на дно не явились, сердешные, то куда впотемни пехаться по чужим лесовым путикам – каждый может заманить в лешевый угол, да и оборваться вдруг в глухом елиннике. А заблудившись, ночь в незнакомом лесу коротать – это тебе не у славной тещи в гостях посиживать возле стопки блинов со сметаной...

Собрали новогодний стол, день длинный показался, в хлопотах как-то приустили все, внутренне одрябли, на покой захотелось. Разговор не вязался. Только сели праздновать – электричество погасло. Теперь надолго без света, может, и на месяц, если снегом оборвало провода или упали столбы. Зажгли свечу. Ёлка таинственно поблескивала игрушками, сумерничали мы, как заговорщики. Едва видимый, Николай Угодничек поглядывал с божницы. По стенам шевелились черные лохматые тени. На улице по-прежнему метелило, гостей ниоткуда не ждали. Разве кто из деревенских, заблудившись с пьяной головы, случайно приползет на огонёк; нынче не расповажены крестьяне шататься по соседям; поди, уткнулись угрюмо возле бутылки да тарелки с солеными огурцами и яишней, не дожидаясь боя курантов, скоренько опустошили запас спиртного – и на боковую. В избе напротив короткое время светилось окно смутным желтым бельмом, но вот и оно ослепло (“чего карасин зря жгать”), и, пожалуй, на всю деревню лишь в нашем доме, хоть и мерклый, но жил огонек.

“Как замечательно сидеть при свечах”, – восторженно воскликнула Люся. Круглое лицо горело, улыбочивые карие глаза её влажно блестели.

“При свечах, конечно, замечательно, но ещё лучше – при лучине, – ехидно поддел Проханов, но при этом он оставался умиротворенным, домашним, почти благостным. – Долой самолеты, ракеты, атомные станции, вернемся снова к сохе, лошади, армяку, полатам и соломенной крыше”.

“Саша, ну при чем всё это? Ты вечно всё перевернешь, – надула пухлые губы Люся, словно бы намереваясь рассердиться на мужа. – Разве я говорила про соху и армяк? Но атомные станции нам действительно не нужны. Ты по-

смотри, наша страна превращается в гигантскую свалку отходов... А ещё этот партийный упырь пришел во власть. Боже мой. Боже мой, даже подумать страшно, что нас ждет...

“Хорошо, пусть будет по-твоему... Все дружно толпой уйдем в лес на подножный корм, выроем землянки, станем драть корьё, молоть и печь лепешки, жрать грибы и ягоды, заячью капусту и сныть, ходить голышом, молиться пню и колесу... А советскую цивилизацию под топор, как свинью... Подводные лодки разрежем, крейсера затопим, танки переплавим, возьмем лук и стрелы, народную дубину, тиф и холеру... Черт-те что, прямо слушать противно”, – Проханов сразу вздернулся, словно подключили его к электрическим проводам, загорячился, лепесточек огня заколебался, готовый потухнуть.

“А я за Люсю, – подала голос моя жена. – Да, пусть она мыслит по-женски, ну и что? Разве плохо, что по-женски, всё равно, как бы вы, мужики, ни пыжились, как бы ни рвали на себе рубаху, а всё равно последнее слово будет за нами. Как мы захотим... За нами, бабами, правда, за нами и будущее... Станем рожать, значит, и Россия останется. Верно, Люся?”

“Как без мужика плодиться, ещё не придумали. Хоть и плох мужичок, да затульце... За мужичка завалюсь, никого не боюсь”, – ехидным голосишком пропел я, ловко наполняя рюмки московской беленькой.

“Подумаешь... Ветром надует! – гордо воскликнула жена. – И всем вам, мужикам, кранты!”

И с этими словами дверь в кухню вдруг отворилась как бы сама собою, словно её отпахнуло порывом метели, и из темноты сеней раздался басовитый напористый голос:

“Деда Мороза тут вызывали?!”

“Сам живой Бондаренко... – Проханов откинулся на спинку стула, высматривая в сумрачном проеме двери гостя. – А где наша Снегурочка?”

“Снегурочка в плену у Кощея... Пошли вызволять... Значит, мы погибаем, а они тут водку жрут! Ха-ха-ха...”

“Бондаренко, ты ли это?” – трепетно воззвала Люся Проханова.

“Что, не ждали?” – грузно ступая, Бондаренко прошел в комнату. На плечах и шапке лежали сугробы снега. Бросились целовать и обнимать; затеялась тут суматоха, торопливо накинули одежонку, выскочили в темень. Тихо было, как в погребке, метель улеглась, снежная пыль сеялась с небес, на ростани по-кошачьи, едва слышно, мурлыкал мотор, посверкивали мутные глаза машинешки.

За приспущенным стеклом сидела Лариса Соловьева, жена Бондаренки, и нерешительно вглядывалась в снежную целину темного деревенского порядка, наверное, печально размышляла, зачем она оказалась здесь, в неведомой земле, и стоит ли вообще вылезать в этот гибельный морок. Такое у неё было усталое, отрешенное лицо, так вяла и безвольна была протянутая для пожатия рука, так горестны были сниклые губы, что, казалось, и сил-то не осталось у женщины, чтобы выйти из машины.

“Володичка, здравствуй, – сказала Лариса, завидев меня, – неужели мы доехали?... Даже не верится. – И, наверное прочитав мои мысли, добавила: – Господи, только бы вы знали, как я устала...”

* * *

“Вот те на... У вас что, и свету нет?” – спросила Лариса, входя в избу.

“Нету свету, Ларочка! Отрубили! – воскликнула Люся Проханова, слегка захмелевшая, оттого голос у неё был сладкий, игривый. – И не надо... Как-то даже лучше, глазам спокойнее при свечах”.

“Ага, церковью пахнет, постом, кадиллом, попом...” – перебил Проханов. Жуковатые глаза у него играли в сумемках, как влажные маслины.

“О чем ты, Саша, говоришь... Тебя даже неловко слушать... Мы так привыкли к удобствам, Боже мой, так далеко отошли от природы... Это наше несчастье...”

“Может быть, ты и права, Люся, но с удобствами лучше, – поправила Лариса Соловьева, зябко перебирая плечами и вместе с тем, наклонившись над столом, оценивающе оглядывая его, прицеливаясь к тарелкам. – Люсечка, до-

рогая, мне так хочется есть, я так проголодалась, я так устала. Это просто счастье, что нам Бог помог и мы не заблудились в метель, не застряли в болотах, не укатили в другую сторону, не погибли и не замерзли, что нам попался какой-то странный человек, он неожиданно вышел из леса с посохом, в волчьей дохе, в лисьем малахае и с седой бородой по пояс и показал нам дорогу. Мы предлагали его подвезти, но он отказался, лишь махнул рукою — и пропал... Я оглянулась, а его уж нет. Володя Бондаренко, я правду говорю?..”

“Почти...”

“Невероятно, мистика какая-то! — вспыхнула Люся. — Это так странно, не правда ли? Это чудо... Кричи — не докричишься... Вы одни в ночном лесу, метель, и этот старик в бороде вдруг появляется из тьмы. Как это всё по-русски. Может, это был даже... Ну, как ты говоришь, — женщина смутилась, прикусила язык, чтобы не сказать лишнего. — Короче, я этому верю”.

“Ну, как не верить... Я же не вру, правда, Бондаренко?”

“Почти... Ларочка, успокойся, соловья баснями не кормят. Мы так не успеем старый год проводить. А это плохо... Саня, скажи нам путеводное слово”.

Проханов отключился от разговора, перестал едко притравливать жену, вставлять палки в колеса, но сидел, откинувшись на спинку стула, призмкнув глаза, какой-то помолодевший, домашний, благорастворенный, с доброй беспечальной улыбкой, со стороны, из сумерек наблюдая за всеми. Свеча притухала, оплывала, темень сгустилась вокруг стола, лица наши едва различались. Дюся вдруг спохватилась, зажгла на кухне керосиновую лампу, затрещал фитиль, едкий запах притек в горенку, и стены слегка прираздвинулись. Саша очнулся:

“Ну что сказать, дорогие мои друзья... Год девяносто третий уходит от нас, ужасный год, страшный год распада страны, разрушения, смертей, гибели близких, жути, крови, слез и страданий. Уже, казалось, никто не устоит под сокрушительным навалом антинародной власти, нашу газету “День” закрыли, ворвались в редакцию люди в масках, бронжилетах, с автоматами, будто мы какие-то разбойники и грабители, всё, что могли унести, — унесли, нас выгнали на улицу... Но это был и светлый год, год надежд, русский народ восстал, впервые за много лет показал силу духа, страсть к сопротивлению, жертвенность и мужество, сотни людей, отстаивая честь и правду, сгорели заживо в Белом доме, в этом окаянном крематории, — но не сдались... Мы, Бондаренко, я и Женя Нефедов, бежали, нас преследовали, мы скрывались, мы могли бы затаиться и в Москве, и там бы нашлись надежные люди, но мы направили стопы к Володе Личутину, нашему другу, зная, что в глубине рязанских лесов он уберезит нас, укроет, даст перевести дыхание и осмотреться, как действовать дальше. И вот мы снова здесь, в этом добром деревенском доме в глубине России, занесенной снегами, у наших друзей Володи и Дуси, нам здесь хорошо, уютно, спокойно, мы не сломались, у нас есть новая газета “Завтра”, которую мы невероятными усилиями выпускаем, скитаясь по стране в поисках типографии, убегая от сыщиков, милиции, властей, которым приказано нас держать и не пущать, но находятся всюду верные помощники, народ нам верит, народ ждет нашу газету. А значит, ничто не пропало зря, и впереди нам предстоит борьба... Все мы, слава Богу, здоровы, беда минувала нас, обошла стороною и детей наших... Вот за всё это и выпьем”.

“Саша, ты златоуст, — невольно воскликнул я, душа моя ослезилась, всхлипнула неслышно, наполнилась теплом ко всем сидящим, и что-то подобное, наверное, овладело всем застольем. — Ещё Валентин Распутин может так же говорить, без запинки, будто словесную пряжу вьет, и ни одного разрыва...”

“Наконец-то похвалил... И для меня одно доброе слово нашлось...”

Звякнули рюмки, дружно сойдясь над столом. Не успели толком закусить, поднялся Бондаренко с бокалом шампанского. Жена покосилась на него, но промолчала.

“Ларочка, бокальчик шампани — и всё... — сказал умоляюще. — Что делать, своя бочка выпита, пора лодку вытаскивать на берег, сушить вёсла и думать о вечном. И хорошо, что завязал, больше времени останется для работы... Александр Андреевич всегда рад такому работнику: не курит, не пьет, ну и дальше по всему списку...”

“Верной дорогой идете, товарищ Бондаренко... Ещё бы не ел, не пил и зарплаты не просил... Цены бы тебе не было”, — засмеялся Проханов.

“Ну, дорожка, конечно, надо сказать... – протянул Бондаренко, поблескивая очечками. – Не на Голгофу, конечно... Но все-таки. Ведь под Москвой деревня, каких-то верст триста всего, считай совсем рядом; погромче крикни, на Красной площади услышат. И вот едем мы, едем, конца-краю нет, гололедица, темень, метель, людей никого, вымерла Россия. Ну, как тут не запаниковать? Мне-то, конечно, что, не я же за рулем. Посиживай себе... Я говорю, Ларисочка, не трусь, Бог не выдаст, свинья не съест, – ха-ха... ха! Ну как, Лариса, я был прав? Доехали ведь и вполне благополучно, и никто нас не съел. Ни волки, ни свиньи, ни медведи. А могли бы, могли, если бы мы вбок отвернули. И тут какой-то человек нам попался... Ведь на авось ехали-то, не зная пути. О чем это я? Да... Значит, в русском “авось” не все так мелко, нелепо и глупо, как изощряются западенцы, а в нем какая-то глубокая сила живет, которая и руководит. А над “авосем” стоит наш русский Бог, а с ним-то мы выстоим и с нашего пути не сойдем! – Бондаренко заголил запястье, взглянул на часы. – Кстати, друзья, тютелька в тютельку, самое время поднять тост... Не только я говорю вам сейчас, но и вечно пьяное Кабанье Рыло из Кремля, которого мы, слава Богу, сегодня не слышим и не видим из-за отсутствия электричества... “С Новым годом, дорогие товарищи!..”

“Чего не знаешь, того как бы и нет. Не ко времени вспомнул... Хоть сейчас-то посидим во спокойе безо всякой московской шпаны”, – ввернул я запоздало и отхлебнул “шипучей советской кислятинки”. Пузырьки шибанули в нос, и я закашлялся.

“Нельзя, Личутин, никого ругать в светлый день”, – с намеком пошутил Проханов и вдруг тихо-тихо запел:

*...А где тот лес? Черви выточили.
И где черви? Они в гору ушли...
И где та гора? Быки выкопали.
И где быки? В воду ушли...*

Голос у Проханова низкий, густой, с переборами, внутренне напряженный, будто придавливают ему грудь и не дают звуку вырваться на волю в полную силу. Саня не просто поет, но словно бы вглядывается куда-то вглубь своей недремлющей памяти, где вся жизнь его поместилась – от младых ногтей до нынешних первых паутинчатых седин. Люся подключилась бархатным грудным голосом, ловко подстроилась под водительство мужа, не перечая ему... Вот два голоса слились, не бегут вразбродицу, перенимая на себя власть, но знают такт, и меру, и добровольное подчинение. А без этого чувства согласия, братцы мои, никакая песня красиво не завяжется, искра противления и гордыни невольно выдаст себя, выскочит из горла петухом... Невольно вспомнилось, как праздновали однажды день рождения у Володи Бондаренко на станции Правда в крохотной тесной квартирешке из двух чуланов, куда сошлись человек пятнадцать единогласников и единомысленников. Сбились, как кильки в банке, но ведь хорошо было в тесноте, так сердечно и незабытно, но уже неповторимо... Вот так же, как сейчас, Прохановы вдруг запели, и у Люси вырвалось непроизвольно: “Если бы вы знали, как я люблю Сашу!” Вскрикнула, вспыхнула лицом и, по-птичьи округлив карие добрые глаза, с изумлением взглянула на мужа, а тот гордовато приоткинулся к спинке дивана, вот-де я какой гусь, встряхнул густой вороненой волосней, но промолчал, наверное, в некоторой оторопи...

“Лет восемь, поди, минуло с той поры? – мысленно прикинул я, вглядываясь в поющих друзей. – Как быстро, незаметно проскочили они...”

*...И где вода? Гуси выпили.
И где гуси? В тростник ушли...
И где тростник? Девки выломали.
И где девки? Замуж вышли...
И где мужья? Они померли.
И где гробы? Они прогнали...*

...Когда стол собирали, думали загулять до рассвета, как водилось в прежние годы. Иль темнота вселенская так тесно объяла, что остудила застолье, иль все приустило за долгий суматошный день, но вдруг все разом скисли, загрустили, запозёвывали, запоглядывали на кровать...

Так закончился год девяносто третий.